
Поэзия и проза

НИКОЛАЙ ФОТЪЕВ

Родительский день

ПОВЕСТЬ

Каждый год, как истечет пасхальная неделя, справляет Ирина Мерзликина родительский день. Праздник этот бывает всегда во вторник, но еще за день до него становится она задумчивой, кротко-печальной и молчаливо-благодичной.

В городе, где живет Ирина у старшего сына, печи в старых домах топят углем, редко кто запасаает дрова, особенно чистые, березовые. Но у нее к этому дню всегда припасены хорошие дрова. В понедельник вечером ставит Ирина квашенку с тестом, для чего дрожжи и наилучшая мука назначаются тоже загодя.

Утром, когда сын Роман, невестка Ксения да внук Бориска спят еще и в доме стоит тишина, Ирина поднимается и трижды крестится на восток, не произнося никакой молитвы, а просто, держа в мыслях, что сегодня день особенный, что всех усопших, близких ей она помнит и поминает с прощением и любовью.

В бога Ирина, в сущности, не верит. А если и признает она, так не бога, а то, что души усопших каким-то образом все-таки существуют, как сама человеческая суть или очищенная от всего совесть. И крестится Ирина больше для того, чтобы скорей и лучше настроиться на нужный лад.

Конечно, она и в будние дни помнит о родителях и родных, но в этот день, во вторник, после пасхи, надо вспоминать особенно. Вспоминать, вспоминать, вспоминать, как положено по давнему обычаю, как привыкла она, и чтоб ничто не мешало, не грешно было, чтоб все вспомнилось и увиделось, как наяву. Тогда и думается хорошо и плачется. И рассуждает она светло и даже беседует мысленно с теми, кого уж нет давно в живых. И вроде облегчится душой, успокоится, и жизнь и люди делаются ближе, понятней, дороже. И хочется пожить еще, посмотреть на белый свет и успеть побольше сделать такого, что было бы людям в радость и облегчение.

Так же, перекрестясь, Ирина подмешивает муки в квашенку, растапливает печь с плитой и духовкой. И хоть не старается вспоминать нарочно, а не может не вспомнить при этом страшные голодные годы и голодные родительские дни. Голодные... а все же к этому дню, хоть что-нибудь, хоть горстка муки да оставлена была. И то, что теперь о хлебе вроде и забот нет — все сыты, непременно связывает Ирина опять-таки с родителями и родными, со всеми, кто отжил свое, чьи жизни и труды, может, для того и положены были, чтоб теперешний народ хорошо и сытно жил. Так как же их не помянуть?

В доме есть и газовая печь, но газ Ирина не знает так, как дрова знает, и не очень доверяет ему. Газ, он и есть газ. Бешеный огонь. Мало ли что... Кирпичный камелек с духовкой и то печет не так, как пекла, бывало, глинобитная большая печь с подом, подметаемым березовым веником.



Николай Иванович Фотьев родился в 1927 году на Алтае. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт, длительное время работал зоотехником совхоза, главным зоотехником райсельхозинспекции, корреспондентом амурских областных газет.

Н. И. Фотьев баснописец, очеркист, прозаик. Его перу принадлежит несколько сборников басен, очерков, сборники повестей и рассказов «Те далекие свидания», «Мужчины в доме».

Член Союза писателей.

В последние годы Ирине все трудней управляться враз с квашенкой и вытопкой печи, но в родительский день у нее уже к завтраку все готово: испечены и помазаны масляным крылышком шанежки, печенюшки и калачи, сварены и покрашены яички. В этот ранний час в доме пахнет свежим вкусным хлебом, разливается мягкое тепло, и как бы сходит тихая благодать. Вот в этот-то час и настраивается Ирина окончательно. Как у детей бывает особое настроение, когда в доме стоит ряженая новогодняя елка, окруженная сказкой, и сам Новый год, как невидимый гость, приходит к людям, так и у Ирины от ее приготовлений происходит в душе изменение. Теперь она садится к столу и не спеша, с непременной думой об ушедших, кто был когда-то близок ей и дорог, съедает шанежку, печенюшку, яичко. Все это был народ, хорошо знавший цену хлебу и труду. Потому и поминать его надобно хлебом насущным, на котором жизнь держится.

Завтракает она долго и порою, сильно разжалобясь, плачет тихими слезами и не утирает их.

И в этот раз было так же. Когда на кухню зашли Роман и Ксения, глаза у Ирины казались размытыми, отрешенными, а лицо было иконно кроткое.

— Сегодня — родительский день, — напоминает она вполголоса и несколько печально.

Прежде, в молодости, Роман вроде со смешком относился к ее напоминаниям, а когда студентом был и друзей водил, так даже стеснялся, что мать соблюдает старинные праздники-обычаи. Теперь же, хоть и стал большим начальником и в Москву часто ездит, а вроде с понятием к матери относится и не мешает ей справлять все это. В родительский день и он, и Ксения тоже чуток другими делаются. Тоже вроде поминают. А как же! Оно и в телевизоре теперь часто показывают, как приходят люди к памятнику, кладут венки, снимают головные уборы и долго стоят в почетном молчании. А то и к самой земле склоняются. И пусть нет памятников у тех, кого поминает Ирина, пусть прожили они не так, чтоб толпы людей ходили на поклон к их могилам, но и их есть кому помянуть, пока живы Ирина и другие сродственники. Всякого человека кто-нибудь, когда-нибудь вспомнит-помянет, все, кто жил, кому-то нужны были. Вот и Роман да Ксения небось поминать будут. По-своему, а будут. Бориска — этот, бог с ним, шумоватый, егозной выюныш, волосы отрастил, с гитарой вихляется, но поживет еще, дак оклемается и сам поймет, что почем стоит. Поймет, что не все обычаи вот так сразу позабыть можно. Да и не зря они заведены были, не от глупости. Совсем-то вредных, бесполезных обычаев вроде и не так уж много.

Когда домашние сядут за стол, Ирина, уложив в корзинку постряпушки и яички и накрыв поклажу чистым полотенцем, отправ-

ляется к знакомым старушкам — пусть и они помянут. Старушки поминают пристойно и благочинно, как положено. Но Ирина чувствует, что и они теперь веруют не в то и не так, как раньше бывало. И они икон-то не держат. Молитв у них Ирина тоже не слышала — то ли усомнились в них, то ли забывать стали. Правда, одна все время в церковь ходит, молится, просвиры и грамотки всякие носит. Безрукая она. С детства еще. На косилку отец посадил ее. А кони-то понесли, упала она прямо под нож — и отхватило ей обе руки. Без пальцев, без ладошек почти, а все, что другие с руками делают, то и она делает. Эта и впрямь верует: «Бог помогает». Да ей и нельзя без веры, без надежды-то. А то и утешиться было бы нечем.

Истово верила когда-то и Ирина. Но после того как в жизни повидала-испытала всякое, да пропустила через мысли дела свои и «божьи», да поставила рядом то и другое, то многое, что казалось «так и надо», пустым и даже неумным обозначилось. Того бога, который проживал где-то в небесах и которого никто никогда не видел, а сам он будто всех знал, видел, понимал и всем правил, — того бога Ирина не признавала, ибо и не понимала и не могла оправдать его. Столько всякой несуразности в делах его, что вроде стыдно даже за него. Но в то, что у человека свое предназначение, своя судьба и не всегда понятные ему законы жизни, которые заставляют то одно делать, то другое, от чего либо радость бывает, либо страдание, — в это Ирина верила. Все это не могла она объяснить, поскольку никаких наук на этот счет не постигала — даже в школе почти не училась. Нет, говорила она, все же есть что-то. Вот это «что-то» и казалось ей высшим и таинственным, к чему всегда надо прислушиваться душой и сердцем. Это «высшее» жило вовсе не в небе, как бог, а в самих людях. И если не идти наперекор совести, то все будет ладно, как полагается. Вот и в одной пословице сказано: «Бог-то бог, да сам не будь плох». Вот это — «не будь плох» — и есть вера Иринина, и есть то, чему поклоняется. Если каждый не будет плох, то и всем хорошо будет.

А было время, когда Ирина даже не задумывалась о боге. Грешно это считалось. Раз надо верить — верила. Раз надо молиться — молилась. Раз внушали, что он, бог, все знает, ведает, ко всем справедлив и милосерден, значит, так и есть. Молилась Ирина и молитвы заучивала, смысл которых совершенно не доходил до ума. Но было в этих молитвах и что-то магическое, может, сама непонятность их. Потом, когда Ирине пришлось хлопотать всякие документы, написанные особым казенным слогом, то и они внушали ей что-то такое же. Иные из них, уже давно не нужные, она продолжала хранить еще много-много лет.

В последний раз в церкви она была на четырнадцатом году Советской власти, в день троицы, когда причащала детей своих Романа, Егора, Михаила. В троицын день полы устилали пахучими травами и посыпали отборной пшеницей, а под окнами сажали молодые березки. Все это для того, чтобы жизнь цвела, не увядала и урожай был — полные сусеки.

Тогда, в день троицы и причастия, Ирина впервые сфоторафировалась. Карточка эта хранится до сих пор, сильно поблекла и пожелтела, но все же видно, что была Ирина в ту пору совсем-совсем молоденькая и беззаботная: сидит на табуретке среди полянки, спиной — к бревенчатой стене. На руках — младшенький Миша, старшенькие — Роман и Егор — стоят у колен, оба набутусились чего-то. За Ириной стоят сестры, золовки и два маленьких деверя, с которыми играли Роман да Егор. И все такие простенькие, деревенские, домашние, давние.

И еще вроде беззащитные. Глядишь на эту карточку — и слеза прошибает.

Много уж прожила Ирина — за семьдесят, а все помнит дорогие ей лица. Что вчера было и забыть может, а что тогда — все помнит и никогда не забудет, наверно. Детская, молодая память — большая сила. До самой маленькой морщинки помнит своих родителей — Соломею Емельяновну и Илью Андреевича. Помнит покойных теперь сестер, братьев, подружек и односельчан того времени. Помнит избу свою с тараканами, жировушками и лучинами, с веретешками, прялками и самопряхами, с запахом дегтя, пареной репы, сусла, кулаги, толокна, конопляной и льняной кудели, дрожжевой опары и хмеля. Помнит тогдашние обряды и празднества.

Изба ихняя — изба Сегреневых — стояла в петле речного кривуна, где в половодье фиолетово темнели снега и, окаймляя кривун, золотистой радугой зацветали тальники-заломы. За кривуном, за тальниками — прямо на полдень, густо синела дремотная тайга, а с другой стороны открывались степные чистые увалы.

Зимняя дорога шла мимо избы, срезая кривун и обвиваясь вокруг горки, а летняя — в обход согры, через горку. На этой горке собирались гулянья, и называлась она — Красная. На этой горке, с березовой рощей, земляничными полянами и веселым, далеко открытым простором вокруг, повстречалась Ирина со своим суженым — Степаном Мерзликиным, который при первой встрече показался ей сурово-нелюдимым человеком, и, конечно, это не вязалось с образом доброго молодца, который в мечтах ей виделся. Степан был заимский, из тайги. Почти всех таких, пришлых, местные, малиновские парни лупили нещадно при малейшем поводе. А его — поди ж ты! — нет. Даже самые дурные, задиристые за ручку здоровались. Может, остерегались: ходили слухи, что Степан — медвежатник. А может, характер Степанов уважали. Не хвастлив был Степан, сдержан до молчаливости, уважителен ко всякому. И еще оказалось, что этот человек, с рубцеватым лбом, застенчивой улыбкой и пронзительно-пытливым взглядом, спокойно и как бы виновато побеждал своих соперников в силовой борьбе и обладал голосом редкой красоты и задушевности. Правда, и пел он редко. Вроде и тут не хотел зря показываться.

Нет. Попервости она и не думала даже, что Степан, этот таежный и, как ей подумалось вначале, тяжелый человек, может быть ей как-то близок. К тому же и дружки с ним ездили в ту пору — варнаки настоящие! Ребята Акуловы! Ох, отчаянные головушки! В любой драке — верх за ними... И за Степана, конечно, постояли бы.

В Малиновку, на Красную горку, обычно по воскресным дням, приезжали они верхами. Часто — с ружьями. Ехать-то через тайгу было, да еще степью сколько! Бывало, издали слышно: едут, гармошка играет, и песни поют. Петька да Гришка Акуловы тоже петь мастера были.

Иринино равнодушие к Степану сменилось любопытством, потом — робостью и уважением. Да и в народе ничего плохого не слышно было о Степане. И вот все произошло как бы вдруг. За Степана Ирина вышла убегом. Дело зимой было. Прямо — с вечеров...

В доме тепло и тихо. Роман и Ксения ушли на работу. Один — в областное управление сельского хозяйства, другая — в детский садик. Бориска убежал в институт. На врача учится. А Ирина, управившись с делами, достала из сундука фотографии, старые письма, присела в

своей комнатке к столу, разложила их и опять предалась воспоминаниям.

Вспоминать-поминать положила Ирина с тяти, Ильи Андреевича. Он был главой дома, где росла она, и первым среди поминаемых ушел из жизни. Ирина всегда сожалеет, что не осталось от него карточки — тогда редко фотографировались, да и сам родитель избегал этого. Прошло уж более полувека с тех пор, как не стало его. И пусть все еще как живой он стоит перед глазами, но что-то уже поутратилось в образе его, и потому Ирина чувствует себя виноватой. Эта вина печалит ее той печалью, с которой начинаются первые слезинки. Щеки становятся влажными и блестящими. Слезинки падают на скатерку, на платье, а самые последние задерживаются в морщинках у подбородка.

Родитель вспоминался Ирине непременно и прежде всего — в работе. Мужик он был крупный, усы носил, а бороду брил. Белолицый, лобастый, с веселыми карими глазами. Рубаха — навывпуск, с домо-тканым пояском. На ногах — бродни. Волос тесемочкой охвачен, чтоб не мешал в работе, на глаза не падал. Вот тятя бондарничает во дворе под навесом. Кругом свежие стружки, опилки, щепки, заготовки. Стопками уложена новенькая, желтоватая, как коровье масло, кедровая клепка. Вот он вытачивает ступицу к колесу. Вот кует лошадь, вот стоит у горна с длинными клещами. Он всегда напевал что-нибудь, но сейчас Ирина голоса того не слышит, видятся ей только движения, как в немом кино.

Тятя Ирине запомнился мастером на все руки. Рыбак, охотник, бражник, песенник. Ладил на продажу выездные кошевки, расписные дуги, рессорные дрожки-ходки, колеса, сани, бочки, бадейки, ухваты, ушаты, корыта, стулья, ребячьи санки, оконные рамы и многое другое. И все — с азартом, все с охотой. Надоеет одна работа — на другую кидается. Дока был по кузнечному делу, ставил на мельницах жернова и водяные колеса. Ладно зарабатывал, да все мало: семья была — ровно десять душ, да любил и погулять, не помышлял о богатстве-то. Может, думал, что всю жизнь будет ему легко и азартно работать.

В последние свои годы родитель был мастером на мельнице у богатого степного мужика. Мужик был доволен Ильей Сегреневым, обещал пособить и ему поставить собственную мельницу. Пособил бы или нет — неизвестно. Да тут, в один из зимних дней, вздумалось тятю смазать шестерню на конце водяного вала. Воду не отвел, колесо вертелось. Поскользнулся на льду, рука попала в шестерни, и всю ее от кисти до плеча изжевало зубьями, а самого переметнуло через вал-бревно да в полыню бросило. Здоровой рукой ухватился за сваю — выбрался. А потеряй сознание — конец бы. Целый год лежал потом на спине, пролежни были. Ухаживала за ним больше других Ирина. Рука как бревно была, пухла, сочилась, гнилым мясом пахла. Думали — отгниет или заражение будет. Лекарь настаивал отрезать, а родитель не соглашался, зубами скрипел, а терпел, сердечный. И зажила рука, и хоть нерабочая была, а все лучше, чем без руки-то.

В то время, когда родитель с рукой лежал, происходили у него с Ириной самые задушевные, откровенные разговоры. Многие узнала от него, чего раньше не слышала.

Две войны прошел тятя! Ох, порассказывал! Как в штыки ходили, как убивало, разрывало людей на части, как в окопах землей засыпало, водой заливало. А лошадей сколько побил! Да каких лошадей-то!.. Слышит, бывало, Ирина и — ни жива ни мертва. Умел тятя рассказывать. Рассказы-то у него как живые выходили.

С германской родитель возвращался долго, не прямо по России — по морю да через Среднюю Азию. Тут, в дороге-то, и пришлось опять воевать. То белые, то банды всякие. А край там теплый, зим не бывает, фрукты всякие растут. Народы разные, нерусские и тоже: одни богатые, другие бедные. Даже больше еще у них разницы в жизни-то, унижения больше. Одни — рабы настоящие, бесправные, даже и жениться не могут — калым платить нечем, другие — по нескольку жен имеют. Это надо же! Коснись русской бабы, да ни за что не пошла бы в дом второй, там, или третьей женой.

И вот чудно-то как. Позже куда больше узнала Ирина о том, про что родитель рассказывал, через кино, через радио, через телевизор и от грамотных людей, а все как-то особо живут те рассказы давние, все памятно они, все трогают за душу, и вроде бы от них аромат той поры исходит.

Родительница упрекала, бывало, тятю, что домой с войны вернулся гол как сокол. А мог бы и обновки принести. Домой ехал, так в Семипалатинске буржуйские магазины народ ломал. И шелка, и сукна ташил. А ему, видишь ли, смешно. Бабы, говорит, дрались, когда товар делили. Никогда не видел, как бабы дерутся, а тут довелось. Возьмешь, говорит, да посередке шашкой чиркнешь, так бабы-то — в разные стороны вверх лодыжками!.. А мог бы, если бы цель такая была, набрать товару, пригодился бы. Дома-то обносились все, голяком почти ходили.

Когда родитель ушел на войну, за мужиков остались братка Ефим да братка Саня. Одному семнадцать лет, другому четырнадцать. А как переворот случился, то и они вскорости на службу ушли. Сначала-то вроде как в старую армию, а потом очутились в Красной Армии. Ефим Колчака прогонял, домой вернулся с перевязанной рукой, по ранению. А Саня, от которого четыре года никаких известий не было, оказывается, и на поляков ходил, и на Врангеля, и еще на каких-то старых генералов да атаманов. И даже нераненый вернулся. Вскорости и женились оба, отдельно жить стали. А две сестры еще раньше замуж вышли — Анисья да Авдотья. Самые старшие у мамы были. С ними и взял ее родитель. Из Малиновки-то она замуж в Барнаул выходила, за приказчика. Овдовела да и вернулась с двумя на руках. Тут тятя и женился на ней. Любил ее родитель-то, шибко любил. Старше его была, да еще с двумя ребятенками, а не посмотрел на это. И до старости... хотя какая же старость, если в пятьдесят лет не стало его, все на руки брал маму-то. Подхватит и по избе носит. Ты у меня, говорит, как цветочек аленький.

Никогда не кручинился родитель, все веселый был. А как подумаешь: хлебнули же горюшка, нужды да голода! Кроме Ефима да Сани остальные-то все девки были. Шесть штук! Все, конечно, в няньках да в работницах жили в чужих людях, когда подрастать стали.

Ох и работал родитель, когда домой вернулся! В руках-то у него все, как в огне, горело. Натосковался. Да и проворен, удал был. В батюшку. Тот, сказывают, шибко мастеровой был. Все срубы да ряжи рубил, да жернова на мельницах ставил. Даже кареты мог ладить. А под старость мельницу заимел, вроде и неплохо жил, а как Илья женился на бедной, да еще с двумя ребятами, так ссора вышла у них. Ничего батюшка не дал Илье-то, с голого места пришлось обживаться. Да что уж там... Так-то оно частенько бывало, в те годы. В бедняках ходили Сегреневы, а все же восемь душ вырастили. То ли уж порода крепкая оказалась, то ли потому, что тятя с мамой и сами много работали и детям лениться не давали. У других, посмотришь, рождалось и по четырнадцать, и по пятнадцать ребят, а выживало половина, да-

же меньше. А у мамы только четверо умерло, еще младенцами. А выжили все, так двенадцать было бы.

Помнит Ирина, как партизаны ездили. Отряд за отрядом. Колчаки-то не дошли до Малиновки. Их где-то в степном Алтае да на Чуйском тракте побили. А партизан в глухих деревнях притаежных да на заимках далеких много было. Как-то в доме, где Ирина в няньках жила, спрашивают ее: «Ваши-то, Сегреневы, за каких? За белых или за красных?» А Ирина не знает ничего — мала еще. Прибежала домой, спрашивает: «Мама, а мы за каких?» А мама и говорит: «Скажи им, что мы за тех, кто верх возьмет». А вообще-то, конечно, за красных были бедняки Сегреневы. Иначе с чего бы родитель с бандитами воевал, а Ефим да Саня сразу же в Красную Армию пошли. А время тогдашнее, прямо сказать, путаное было — понять невозможно.

Когда рука стала заживать, так тятю удержать нельзя было. На терпелся, год целый не ходил никуда. А сам-то охотник неумный. Еще лечиться бы, а он — на охоту. И Ирину — с собой. Она была по смелей, повыносливей да и посмышленей сестер. Подкрадутся, бывало, к уткам или рябчикам, замрет Ирина, остановится, а он ружье положит ей на плечо и стреляет. Потом, как рука совсем зажила, он и влет сбивал уток да гусей. Запомнился Ирине тихий осенний день, когда все они в огороде копались и ботвой да землей сильно пахло. А с нижних лугов, через кривун, утиный косяк летел. Родитель — ох проворен был! — успел-таки в сени за ружьем сбегать. Бах-бах и — два крякша вот они. В семье приварок дивный. А то как-то гуся стрелял, так тот в соседний двор сверзился. Как раз соседка корову доила, испугалась шибко. И то сказать: с неба да на корову птица с большими крыльями пала. И много же всякой дичи было!

Умер тятя на пасху. Да ведь как нелепо умер-то, господи! Один пьяный дурак по ошибке стебанул колом. Драка была на Красной горке. А родитель-то — ох не любил драк! — все разнимал драчунов. И тут разнимать начал. Пришел домой. Думали, опьянел, раскраснелся. Стонал, места не находил. По голове ударили-то. А потом и прощаться начал: «Доченьки... детки родимые... Простите, ухожу от вас...»

И вот не стало. Не было больше веселых стружек во дворе, не ездили к Сегреневым заказчики на кошевки, на ходки, на колеса тележные. И песен тятиных не было — то протяжных и тоскливых, то удалых и веселых.

Но и осталось от тяти многое. Сыновья, дочери остались. Память добрая осталась. У него научилась Ирина делать клепки для бочат, сколачивать кадушки, подшивать валенки, шить простую обувь, тесать нехитрые поделки, ловить рыбу. Он часто брал ее с собой и на работу, и на охоту, и на рыбалку. Они рыбачили, даже зимой, ставя под лед жерлицы, донки, плетенные из тальниковых прутьев морды и сурпы. Больше всего в речке Чапше ловилось налимов. Зимой, в снегу, на крыше их приземистой избы всегда было наткано множество замороженных рыбин. Она и теперь была бы не прочь посидеть где-нибудь у речки с удочкой...

Вспоминая о тятю, видела она и места, где ходить с ним доводилось. И все кажется ей, что она тогдашняя и до сих пор ходит где-то в той поре, по веселым лугам, по степным увалам, по таежным речушкам. Ходит и ног не чувствует. Молодая, легкая, ладная, взлететь готовая.

Речка Чапша (а кто и рекой называл ее) небольшая в ширину, камнем перебросить можно. А берега высокие. Тут и стояла Мали-

новка лицом на полдень, на лесную сторону, а задворками — на степь. Долина тоже неширокая, с заливными лужками, небольшими озерами, веселыми перелесками, клюквенными согами, поперечными ручьями в тальниковых бережках.

Подумаешь так — золотое местечко! В степной стороне, которая тут еще гористая, с логами и ложками, были у малиновских и пашни, и сенокосы, и пастбища. В конце лета там выросло множество хлебных кладей, стогов, гудели молотяги, стучали цепи и тележные колеса, слышались посвисты, покрики, и уж обязательно наносило оттуда запахи спелого колоса, молодой соломы, лошадиной упряжи и какой-то особой пыли или пылицы.

На солнечных склонах, где чисто и просторно, и трава приземиста, всегда росло столько ягоды-клубники, что поспевай брать! Соберутся бабы, девки да ребята малые, кто с туеском, кто с ведерком и — айда в степь по клубнику. Иной раз как высыплет вся деревня, так в косогорах платки да рубашонки куда ни глянь, пестреют. А воздух в эту пору сладкий, ягодный и вроде бы даже пьяный чуток. И сено с клубникой, бывало, хоть чай заваривай. Зимой везут воза, а ребятня следом бежит, клубнички в сене высматривает. У кого глаз острей.

Но главное: в степи черноземы в пояс глубиной. Говорят, нигде нет такой земли, как в степных предгорьях алтайских. Да и хлеба столь запашистого, может, нет в других местах. И теперь, когда Ирине случается обнаружить знакомый аромат в тесте, она так и просияет: «Однако, с Алтая хлебушко!» И, может, потому так помнится ей хлебный запах, что с детства и до замужества при родителе своем на мельнице бывала. Со всей округи мололи степную алтайскую пшеничку да ярицу.

И в лесной стороне много было добра всякого. Калина, — мама шибко любила кулагу с калиной, — рябина, малина, смородина, черемуха — раньше ее сушили, на мельнице мололи, потом всю зиму пирожки стряпали. А дальше и кедрачи с орехами. Всякая ягодка, всякая травка может пользу принести, если понятием не обижен. Травяные-то лекарства, может, даже получше, чем те, которые заводы выпускают. В таежной, черновой стороне лес брали на постройку, корье, бересту, хвою, пушнину, пчел диких, птицу, зверя, орех кедровый.

Мужики малиновские делились на степных и черновых — таежных. Кому степь да хлебопашество, кому — чернь-тайга. У одних в степи заимки, риги, амбарушки, у других в лесу дегтярные ямы-корчаги, балаганы всякие, путики охотничьи, становья. А то и пихтовые, известковые, дегтярные заводишки.

Ирина и в степной, и в черновой стороне вдосталь побродила. Все запомнилось. И еще бы посмотреть не мешало, хоть на родине гостила она не так уж давно — всего десять лет назад. Побывала, посмотрела, родных да знакомых навестила. Полтора месяца прожила в летнюю пору. Большие изменения и там произошли. Все мелкие таежные деревушки бурьяном зарастают. Народ в большие села и города устремился. Оно, может, и лучше так-то. Культурно и удобно жить. А тут пусть природа успокоится, в прежнюю силу войдет, свое обличье примет.

Малиновка, правда, не разъехалась. Живет Малиновка, строится помаленьку. Только вроде и не больше стала. Просто старые дома отжили свое, новые поставили.

Перебрав в уме, что с тятьей связано, Ирина обращает память к маме. Мама умерла уже после войны, старушкой глубокой. Такой и в памяти осталась. И, когда вспоминает ее Ирина, видит маленькую,

сутуленькую, прозрачную, пугливую, как пташка. При ней все домашнее, все бытовое вспоминается. Мама научила прясть и ткать холсты, скатерти, полотенца, дерюги, половики. Научила вязать варежки, носки, чулки, шить одежду, огородничать, ходить за скотом, узнавать и запасать лекарственные травы, стряпать и домовничать.

Долгими зимними вечерами, при свете лучин и жировушек, Сегреньевы садились за прялки и самопряхи. Днями они тоже урывками пряли, между другими делами, а по вечерам — всем домом и непрерывно до полуночи почти. Родителю и братьям вечерами тоже было чем заняться. Стругали клепку, набивали обручи, ладили сани и санки, плели морды и сурпы, сучили веревки и вожжи. И от всего этого хорошо было в доме. Одни свое, мужское робыт, другие — женское.

Прясть Ирина научилась лет с восьми, если не раньше. Чуть выпадет время и — прясть. Но больше — вечерами, ночами. На улице темень, мороз, звездочки, глухомань, а в избе самопряхи, веретешки жужжат-мурлыкают, работается весело, друг от дружки отстать не хочется. И радостно, когда видишь, что пряжа все прибывает, прибывает. И течет, течет домашняя беседа.

Порой на улице вдруг забрякают колокольчики, заскрипит, загудит стыло. Значит, обоз из тайги идет. Обозы-то всю зиму днями и ночами шли. В лес налегке бегут, а назад — с грузом, с сутунками. А сутунки-то ядреные, длинные, настылые. И гудят, гудят, как трубы. Особо гудят, когда концы их по дороге тащатся. Прямо поют, сутунки-то.

Как ни трудно жилось, а мужики степные строились. Кто покрепче, так лошадей-то хороших держали. Да еще вскладчину поедут, бывало. Обоз на версту растянется. Скрипит, гудит мимо окон, конца-краю нет. Продуешь, протаешь стеклышко и смотришь, какой обоз, какие дуги, какие кони, какие мужики. На детский-то ум, оно и занятно и сказочно было. И как это ездят люди ночью, и как не боятся? Зима, мороз, степь, волки, а они едут. В тулупах, бородатые, и усы в сосульках. Бывало, заедут чай попить, так у порога сколько времени сосульки обламывают да в шайку бросают. Дивно это было — живой человек, и лед на нем.

Проедет обоз, проводишь его и — опять за пряху. Самопряхи мурлыкают, и от такого мурлыканья, глядишь, в сон поклонит. Тогда заведет кто-нибудь песню. А тут и другие голоса вплетутся, и потянулась, полилась душевная песня-помощница. А руки вроде сами по себе шевелятся. А то сказки да побывальщины пойдут. До того наслушаешься, что в угол боязно глянуть. Истории всякие страшные рассказывают старшие-то, а углы всегда темные, при лучине-то, и кажется: там, в углу, и прячется то, про что речь идет. Тут уместнее что-нибудь смешное да веселенькое рассказать или запеть.

И вот, как подумаешь, то выходит, что и в те времена не хлебом единым жил человек. Оно, конечно, главное, чтоб середка сыта была. Тогда и края, как говорится, заиграют. По-всякому, по-разному душу-то питали. Песней и сказкой-прибауткой, шуткой и играми-забавами, удалью молодецкой, выходкой красивой.

Сейчас все больше в книжках разные истории рассказываются, да в кино, да по радио, да в телевизоре. А тогда только и оставалось, что в живом слове человеческом узнавать про все — из уст в уста, как говорится. Тоже ведь свои мастера были сказки сказывать да прибаутки-присказки. Не было тогда театров, так сами что-нибудь в лицах показывали. Меж рождеством и крещением по дворам ряженые бегали. Их еще называли «шуликуны». Бегают эти шуликуны, кто во что наряжены — кто поп, кто купец, кто зверь какой-нибудь,

кто кикимора, кто черт патлатый, — и представляются. Другого и узнать нельзя — так в азарт войдет, что себя забывает. Ладно не ладно, а все равно потешно, празднично. Или взять сватов и свах завязанных. Это же настоящие артисты. Вот и начнут, вот и начнут картины разыгрывать да словами расписывать!.. Вроде и шибко серьезное дело — женитьба да свадьба, а с шуткой-то все же лучше.

Ирина-то и сама большая любительница была песни петь. И сейчас к тому интерес не утратился. Да обидно вот: редко что понять можно из того, что теперешним молодым людям глянется. Бориска объясняет лихо: такой век, бабка, такой спрос имеется, другое время, другая и молодежь. Оно, конечно, другая. Дай бог, чтоб другая — лучше. Да неужто настолько другая, что старым людям ничего понять невозможно! Пляшут, танцуют — все издегаются. Борискин «кореш» был на Первое мая. Отплясывал так, что нарочно такое похабство не придумаешь. Так и задергался весь, так и повело, как припадочного, во все стороны. И это перед старым-то человеком выступил! Класс показал, как Бориска выражается. Штаны бы спустить и показать класс... А то идут и приемники в руках тащат. Музыка на всю улицу орет. И довольные, как будто сами играют, мастера большие. К ослу подцепи приемник, так и он так же играть будет. Музыкант! Раньше, правда, тоже с шарманками ходили. Но так ведь то убогие да нищие. Да и то меру и место знали. Станут где-нибудь в сторонке, шарманку крутят, а сами поют, стараются... Ох, может, не про то бы думать сейчас. Да как не думать, какой родитель про детей да внуков не думает? Особо — в родительский день.

Но вот опять вспоминается прошлое. Утро. Роса блестит, туман над речкой нежится, горюшка таежная поверх солнцем обрызгана, утренник подувает наверху-то, и листочки, ровно золотые, трепыхаются. Все это видится из окошка Сегреневых. Где-то на том краю деревни берестяной рожок запел, коровы взмыкивают, петухи взапуски перекличку ведут, а на согре журавли кричат... А вот и колокол ударил. Сегодня пойдут с иконами. После пасхи всегда иконы и «знамена» носят, в каждом доме службу правят. Как подумаешь теперь, то вроде и обидно, и тоскливо делается за темноту свою тогдашнюю. Колгота, внушение, а батюшке с певчими — заработок.

Когда шли с иконами, то обходили одно, будто бы проклятое, место. Тут божья мать не желала идти. Мосток был, а шли вброд, через рывину, мимо моста. А на мостках-то, говорили, кто-то чью-то кровь пролил невинную. Ирина и сама видела: как донесли икону до мостков, так и встали. Вроде бы как стена невидимая на пути, и шагу не сделать дальше. Сговорятся попы, конечно, вот и встанут, чтоб народу внушение было.

А вот еще праздник, день крещения. Мама чуть свет посылает Ирину и сестриц на прорубь за святой водой. Обычно к утру прорубь замерзает, а тут ее заранее прочищал кто-то. Придешь, а вода — вот она, открытая, чистая, и парок курится. А вода святая, потому что праздник, потому что освятили ее и потому что никто на прорубях перед этим целую неделю белья не полоскал и ничего другого не мыл. Так положено было. Да еще рубили в этот день проруби-иордани, в виде креста. Поп молебен служил и голоручьем медный крест держал. Сказывали, что он маслом каким-то руки-то смазывал, а народу внушалось, что это бог его греет. А один мужик дак все купался в иордани. Привезут его на санях в тулупы завернутого, выходит он голеньким — бух в прорубь. Искушается, в тулупы заворачивается и домой гонит. Лихоманка была у него. Одни сказывают — вылечился так-то. Другие говорили — так и помер, бедняжка.

Ирина, бывало, начнет все это рассказывать при Бориске, так он за живот хватается, головой крутит. Смешно и дико ему. А нет, чтоб вникнуть, для чего так делалось. Жили в лесу, молились колесу.

Вот ведь как устроен человек. По сравнению с теперешним, куда как темно и дико было, а раз лучшего не знали, то все равно интересно. И праздники и обряды всякие интересными казались, таинством окруженные, и помнились потом долго. Вот что значит с детства внушить что-нибудь. Потому и надо смальства с самого внушать добро, да правду, да знания полезные. Потом, может, поздно будет.

Конечно, с теперешней ступеньки многое тогдашнее просто страшным кажется. Но, если вдуматься, кое-что и хорошее было, которое вроде поутратилось нынче. Сказать, почитание родителей. Шибко почитали родителей-то. Так заведено было. Ребятишек смальства ко всякой работе приучали, и сейчас бы так не мешало. А то ведь как бывает? И вырастят, и выучат, и замуж выдадут, а делать для себя ничего не могут молодые-то. Опять же родителей тянут. Про тунеядцев раньше вообще Ирина не слышала. Разве что в городах были. Конечно, были буржуи, купцы, спекулянты и разные хитрые паразиты. Но это — особая статья. На то и революция была.

Времена меняются, все к лучшему идет. Да оно, и жизнь-то человеку дается для того, чтоб к лучшему идти.

Нет, не может Ирина не думать о жизни и о смене молодой. После нее остаются дети и внуки, и ей не все едино, какие они, как без нее жить будут. И теперь она не только ушедших вспоминает, но и сравнивает их с теперешними и не хочет, чтоб теперешние в чем-то уступали тем, кто жизнь для них поставил.

Жизнь... Сравнишь теперешнюю жизнь с тем временем, в котором жила Ирина когда-то, так — умирать не надо. Одна главная, всегдашняя забота была — о хлебе. А теперь послушай, о чем говорят люди. У кого что болит, тот про то и говорит. А говорят о всяких нарядах, да модах, да машинах, да театрах, книгах, да коврах, мехах, квартирах со всеми удобствами. Ох, да мало ли!.. А о хлебе вроде и разговору нет. С водой иногда бывает труднее, чем с хлебом. Нет, не о хлебе теперь главная забота. О чем же? О том, чтоб сам человек славным был. А душа-то, она тоже корни имеет. Большие корни! И тянутся они не только к детству, к родителям, к дедушкам-бабушкам, но и к людям разным, и к делу, которым заниматься приходилось. Тут Ирина по своим детям судит. В труде, в стараньях выросли. Может, и лишку заставляли они со Степаном работать ребят своих, зато уж все по правде было. Никто совесть-то не разменивал на выгоду. Тот же Роман, взять. Главный агроном над всей областью, а все вот живет в старом домишке. Ни воды горячей, ни ванной, ни центрального отопления. Уголь надо носить, воду — носить, золу — носить, дровишки — запасать. И люди, и домашние сколько раз совет давали — сменить квартиру. Дескать, другие и помельче сошки и то давно в благоустроенных хоромах живут. А Роман-то аж глазами сверкнет да желваки вспучит. У нас, говорит, одно дитя на четыре комнаты, а у других вон семьи побольше, и то еще на очереди стоят. А уголь и воду носить — это, говорит, полезно даже. А то разленимся, разжиреем. И огородишко есть две сотки под окнами. Тоже для разминки и для радости. Вы, говорит, еще не понимаете своего счастья...

Оно можно и посочувствовать Роману: к земле привык. А тут сразу человека куда-нибудь на пятый этаж!

Иной раз, правда, и обидно вроде. Ничего Роман доставать не хочет. Сказать, обувь, одежду модную. А если намекнуть, так обидишь. Мерзко, говорит, подло это — доставать! По знакомству, с зад-

него двора: «я — тебе, ты — мне». Спекуляция, говорит, — подрыв Советской власти... И за Бориской следит, и за Ксенией. Чтоб ничего такого не было. И у Егора такой же характер.

С Бориской Роман, бывало, насчет музыки спорили. Принесет Бориска пластинку и крутит. Ну если хорошо, так хорошо. А то бывает — срам один. Ни уму, ни сердцу. Тут Роман и спрашивает Бориску: что, дескать, говорит эта твоя музыка? О чем говорит? А у Бориски — все просто. Отвечает — для развлечения, развеяться. А Роман: ты сначала наполни душу-то чем следует, потом развлекай ее, а то последнее развеешь. Время придет серьезные государственные дела вершить, так душа-то должна быть ядреной, а не пустой. Ну Бориска, правда, не дурак. И сам понимает вроде. Просто озорует по молодости.

Душа да песни для Ирины — почти одно понятие. Ведь сколько людей через песни сдружились! Иные в ссоре были, и то друзьями становились, потому что песни у них ладно получаются, голоса сходятся. Души, значит, близкие.

Ночами порой не спится Ирине. Лежит в своей комнате и слушает радио. Песни поют. Бывают песни — душа умиляется, а бывают — горе одно. Музыки, шуму, грому! А слова плохо слышны. Да и слова-то почему-то как попало сляпаны, в душу не ложатся. Блямкают, блямкают... А то шепчут-шепчут да ка-ак заревут! Или как рассудить: все общее, а песен общих все меньше становится, все — порознь поют, все артисты. Музыки навезут с три короба да за микрофон, как за соску, держатся. А как простому человеку петь? Раз артист поет, то и люди должны петь научиться. Не только ведь для слушанья песни-то...

Думы ведут Ирину все дальше и дальше, по кругу жизни. Вспоминая родителей, подводит она черту и под своей жизнью. Восьмой десяток разменяла. Вон сколько уж протопала! А жизнь-то вроде как один день пролетела. Все в работе, все в заботах.

В школе Ирина не училась. Ни ее, ни сестер даже не пытались в школу устроить. Родитель по-старинному рассуждал: девок учить — только время терять. Волос длинный, а ум короткий. А Ирине уж так хотелось, так хотелось учиться! Но только потом уж, при Советской власти, немного побегала в школу, да и то самовольно. В Малиновку приехала из города учительница. Латышка Кристина Фрицевна. Избу отвели ей. Большая изба. Тут она и жила, тут и учила в одной избе. Ох грамотная, умная! Ирина уж невеста была. Вроде и стыдно было начинать учиться, а все равно тянуло. Украдкой бегала к Крестине Фрицевне. Иной раз она и букварь на дом давала, так Ирина вечером, когда все спят, сядет возле железной печки и, пока топится и свет дает, все слоги складывает. Днем-то некогда — все на работе.

А потом беда случилась. Утонула Кристина Фрицевна. Самое половодье было, Чапша — вровень с берегами. А она по воду пришла с ведрами, с коромыслом. Прямо с берега, не снимая коромысла, и зачерпнула ведерко. А второе стала зачерпывать и — упала. То ли водой ведро-то дернуло — течение было, то ли равновесие потеряла, то ли с сердцем случилось что-то. И как подтолкнул кто — сразу на середине оказалась. Проплыла немного, рукой помахала и — ко дну. Братка Ефим улицей проходил. Услышал, как вскрикнула Кристина Фрицевна. Примчался, а она уже под воду ушла. А он разделся да — в воду. А рука после ранения еще плохо работала. Сам чуть не утонул — вода ледяная, мутная, быстрая. И лодка тут же была — быстро кинулись искать учительницу, но так и не нашли. Кусты, коряжник на реке-то.

Ох, наплакалась Ирина!.. С тех пор до самого ликбеза нигде больше не училась.

Работать, хлеб добывать начала Ирина с нянек в богатых домах. Нянится, а сама чуть больше ребятенка-то. И со своими сестренками так же. Была домработницей, стряпухой, скотницей и мужикам помощницей. Недаром родитель мужским работам научил. В том возрасте, в каком теперешние ребятишки только в школу бегают, Ирина копны возила. На коне-то, ровно казак, гарцевала. Одновá даже на бегах бегала, подарок заработала. В том же возрасте пряжу пряла, полы мыла, стряпала, по дому управлялась. А как же! В те поры, бывало, в пятнадцать лет замуж выдавали. Что была бы за жена, когда бы стряпать не умела?

И вот чудно что. Даже самые веселые праздники запомнились не так ясно, как работа на лугах, на пашне, в лесу, когда дрова пилили помочью. Родитель не такой уж ярый хлеботорб был. Больше ремеслом занимался. Но раз надел земельный был, скотину да птицу держали, то как же было без пашенных работ и сенокоса?

Пашня и сенокос держались на братьях и сестрах. Только уж в самую горячую пору тятя выходил, да и то собравши помочь. А за помочь потом колеса ладил, телеги, сани, дуги, бочки и другое, что по хозяйству мужикам надобилось.

Помочь — святое дело. Никто не ленится, не отстаёт. За день, бывало, на зиму накашивали. Или когда стоговать пора приходила. Как славно было с помочью! И тогда еще заметила Ирина, что сообщая, друг перед дружкой не срамясь, веселей и спорей дело получается. А после работы, вечером — гулянка веселая. На то она и помочь. Помогли — спасибо, угощайтесь, добрые соседи!

Сенокосные помочи больше всех любила Ирина. Лето, синь да голубень над головой. Жарко. Млеют речки и озера. Тихо в деревне. Овечки собьются в кучку, соткнутся головами, к самой земле опущенными, стоят, боками поддают, жару пережидают. Свины и поросятишки где-нибудь в тальниках, под яром, или в тени построек развалятся, по уши в землю да в грязь зароятся. В это время в деревне и запах какой-то особенный — пахнет глиной раскопанной, коровьим навозом. А за околицей — березовой листвой, травами, сеном, ягодами. На лугу как на ярмарке: навесы, балаганчики, дымки, стога поднимаются. Там и тут мелькают вилы, грабли, платки, рубахи. Кони, с ребятишками на спинах, гулко топчут, хвостами помахивают. Налегке-то — все рысью да рысью, а с копной — внатуг. Топают кони, шумят копны, тащась по кошению, и приминают стерню в одну сторону, и лощеная дорога получается, блестит на солнышке. Топот, шум сена, звук удил, смех, крики, запахи.. В жару всегда сильно пахнет. Потеют кони — запах. Спеет голубика — запах. Нагревается кошенина — запах. Даже от согры и озера свой запах — дурманый и сладкий.

Ирина мастерица была сгребать сено и копешки навивать. Прыткая, проворная. Тогда дело чисто бабьим было. На сенокос снаряжалась — надевала чулки самовязные, длинные, а то и шаровары, чтоб коленки не кололо, обутки, шитые на прямую колодку, со шнурком у щиколотки. Легко, и ногу не колет. Шур-шур-шур... Бегаешь на рысях, граблями поддеваешь, ногами поддаешь — и катится, катится валок впереди. Обутки-то о стерню да о сено так начистятся, что блещут, как лаковые. Катись валок, а если рядом товарки, так вместе катишь — сразу вон сколько рядков подберешь! Такая физкультура получается, что ни одна жилочка без работы не остается.

Все шире, все дальше идут сенные валы, а следом — копны врасыпную и стога зачинаются. У стогов мужики, рубахи — навывпуск, го-

ловы платками повязаны. Тут у них где-нибудь в холодке лагунок с водой или квасом.

Тятя, когда втягивался в работу, по копешке на вилы брал. Не каждый мог так-то. Здоров, проворен был. Пласт — за пластом, один к другому, и стог, как гнездышко, увивается, растет, расширяется кочаном, а потом на конус идет. И вот стоит он, высокий да ладный. Тому, кто вершил, надо теперь березовые ветреницы приладить.

В самую жару — обед да отдых. А место надо выбрать так, чтоб и ветерком оевало, и ключик с холодной водой был, и озерцо, чтоб искупаться, и тень чтоб была. И когда все это есть — до чего приятно посидеть с устатку в тени берез, у свежих копен и стогов-великанов! Да если и поесть хорошо что-нибудь имеется, то и совсем ладно.

К сенокосу, бывало, всегда продукты получше припасали. И вот сидишь эдак в холодке, на свежем воздухе. Щи свежие, хлеб свежий. Из ключика молоко в туюсочке достанешь — тоже свежее, вкусное, холодненькое, да еще — с клубникой...

Бывало, за день до упаду наломаешься, а все равно приятно на душе. И сейчас приятно вспоминается.

Ах, хорошо на сенокосе! Хоть страдная, но славная, веселая пора! Так и стоит она, пора эта, в глазах. Стоит в виде веселой молодой бабенки на лугу, под ситцевым платочком и с ловкими граблями на плече.

Позже и в колхозе на сенокосе Ирина всегда была ударницей да стахановкой. И вот что всегда глянулось: у дружных людей и работа — дружная, ладная. Дружные люди и лодыря за собой без слов ведут, потому что нет лучшего примера, чем красивая добросовестная работа.

Перед замужеством Ирина жила в стряпухах у малиновского лавочника Масленникова. Тогда еще разрешали держать лавки-то. Политика такая была. Временная. Хозяева ценили Ирину. Да и грех было не ценить. Чуть свет — шла Ирина коров доить, десять коров дойных только! Телятишки, ягнятешки, поросятишки, птица всякая... Всех — напои, накорми, устрой. Потом дров да воды натаскай, печи истопи, приберись, за пряжу садись. Только званье было — стряпуха. А коснись — везде работница. Даже по сено ездил на двух подводах сразу. И тут сноровка была. Чтоб воза ровные наложить, в дороге не мучиться, не перекладывать под раскатами, у стога для саней-то возьмешь да снег выгребешь желобом этаким. Тут сани и поставишь. А по бокам-то еще сугробы нагребешь для опоры. И бастрик сподручней вдевать в передовку, когда сани так поставишь. Навьешь воз, утянешь, как игрушка станет, любо по деревне проехать. Запоздаешь, бывало. Мороз стоит, одиноко в степи, да и волки водились, а все ни-почем. В пимах, в полушубке не холодно. Идешь за возом или на возу сидишь да песенки поешь.

У Масленниковых Ирина и на приданое заработала. Это уж после смерти родителя. Сам Масленников грамотный был, книжки читал и детей в городе учил. А дети — все девки. Только все тощие, бледные, к крестьянству не приученные. Съедутся в родной дом на побывку, вежливые такие барышни. И все-то Ирине завидуют, бывало. Была она из себя видная. И чем, говорят, таким кормили-поили тебя родители, что такая ты ладная да справная выросла?! У нас ли поесть-попить нечего, с нашим папенькой домовитым? А вот все нет в нас исправности — худоба одна. А Ирина и сама не знала, отчего так. В доме-то у Масленниковых и впрямь все как сыр в масле катались. А девкам ихним — все не впрок. И спать-то они Ирину с собой уложат, бывало. Ну, станешь им сказывать, как росла, чем питались

дома-то. Репные, брюквенные да свекольные паренки ели, толокно, кулагу с калиной, сусло пили. А больше на картошке сидели. Дак не верят девки. Ну, правда, при родителе всегда хлеб был, рыбка водилась, дичинка... А как умер — тут всяко пришлось. Братья с женами сами по себе жили. А Ирина да двое младших сестер по нянькам и стряпкам пошли.

В зиму тысяча девятьсот двадцать пятого Ирина замуж вышла. Летом познакомилась со Степаном Мерзликиным на Красной горке, а великим постом в ночь глухую, прямо с вечеров убежала на заимку. Степан к тому времени ей уж приглянулся, а мама все уговаривала выйти за Крысантия Клячина. Богатый жених был, да нелюбый. Вот Ирина и решила по-своему.

Кони гусем были запряжены. Буранило, дорога убродная. А понесли, понесли куда-то кони-то в темень непроглядную, навстречу ветру и снегу обвальному. Сначала и колокольчик не звенел — Степан платком обвязал его. А как отбежали подальше — развязал, и зазвенел мерзликинский колокольчик. Бегут кони, торопятся, буран гудит, снег бусит, полозья поют, а Степан все понуждает, все покрикивает на коней. Ночь буранная. Ничего не видела Ирина по сторонам. Знала, только, что степная дорога скоро кончилась, а дальше все в тайгу да в тайгу бегут кони. А тайга так страшно гудела, так стонала! Если бы не кони добрые, так, может, и до места не добрались бы. Замело бы где-нибудь. Но кони у Мерзликиных справные были, хорошего завода. Да и Степан дорогу как чуял вроде. Не сбились ни разу.

Заимка мерзликинская, куда убежала Ирина, стояла в двадцати верстах от Малиновки. Приехали. Степан подхватил ее на руки, вместе с тулупом в дом занес. Вот и мы, дескать. Прошу любить и жаловать. Приветливо встретили, славно.

Переночевали, а назавтра в Малиновку, в три кошевы поехали поклониться матушке Ирининой, братьям, сестрам да на свадьбу позвать. Сразу же и свадьба была.

Чудно показалось Ирине попервости. Как это люди живут одни в лесу глухом? И характер-то у них немного другой, не такой, как у деревенских. Приветливые, не крикливые, не шибко разговорчивые. Но уважить человека — первое дело.

А кругом все горы, да пихтач, да березняк, да осинник, да речки-ключики журчат. Скоро привыкла Ирина.

В доме проживали свекор, свекровка, бабушка — мать свекра, две золовки, четыре деверья. Со всеми сдружилась Ирина. И ее уважали — за проворство в работе, за веселый, покладистый характер.

Дом у Мерзликиных большой был, пятистенный, с горницей, сенями, кладовкой, нарядной верандой и высоким крылечком. Большой дом, большая семья, большое хозяйство... Свекру было под пятьдесят, не старый еще, для всякой работы годный. Свекровка тоже — не старая, а деверья и золовки почти все взрослые. Вон какая артель рабочая! Когда женился еще деверь, да сама свекровка родила еще, да Ирина — Романа, да свояченица родила Алексея, да еще дальняя родственница приехала на житье, так семья мерзликинская чуть ли не до двадцати человек дошла. Три зыбки висело. Ребятишки постарше да молодежь на полатах, вповалку ночевали. Остальные — кто на кроватях, кто на печи, кто прямо на полу укладывался. И ничего вроде, не мешали друг другу.

Свекор насколько мастер был по хозяйству, настолько хлебосол и бражник. В съезжие праздники на заимке собиралось всякого народу, как на базаре: и русские, и алтайцы, и шорцы, и мордва, и зыряне. С одними в родстве состояли, с другими — в дружбе. Как праздник,

так все тут. У Федора Романовича — у свекра — хорошая пасека и взятки ежегодно был, и медовуха не выводилась. Даже алтайский абыз, поп, ездил в гости. «Твоя, — говорит, — кароший человек! Большой человек!..» Ездили и Акуловы. И до сих пор Ирина до конца объяснить не может, что связывало Мерзликиных и Акуловых. Мерзликины степенные, работающие, не обидят никого. А Акуловы только и делают, что народ будоражат. Что сам Акулов, что дети. Ох лихие головушки! Всякая молва шла про них и по степным деревням и по таежным. Старик Акулов был постарше свекра, а все не мог без приключений. Высокий, плечистый детина, черный волос стружкой вьется, борода дремучая, глаза цыганские, шалые, все видит, все замечает.

Чего, казалось бы, проще — жить на свете. Трудись, зарабатывай на прокорм да на одежку, и чтоб в праздник было чего на стол поставить. А люди разные. Один все вытерпит, все переборет. Другой умом да советом поможет. Третьему немедля подавай то, что душа пожелала. Тот же Акулов, сказать. Всем взял мужик. Красавец, богатырь и не дурак. Играючи мог бы работать. А нет. Все номера откалывал. Жил не поймешь как. Цыган не цыган, крестьянин не крестьянин, мастеровой не мастеровой, делец не делец. Все вроде бы умел и ни на чем долго не останавливался. Гульбы, веселья, испытания всякие подавай. Любил удалью похвастаться да что-нибудь такое отчебучить, что и в голову не придет никому. А смел и отчаян был, как бес. И в каталажке сживал, и плетью порот, и при царской власти колобродил, и при Советской все вытворял что-нибудь. Свекор-то смеется, бывало, и говорит: «У них, у Акуловых-то, талан такой: нечистый дух...»

Две жены было у Акулова. Одна в степном селе, другая — в таежном. Обе красавицы, обе любили его, непутевого. Степная жена — с татарской кровью была, черноволосая, рослая, гибкая, наездница, с косами до пят. Выбрал же дьявол! Но буйная женщина — с ножом кидалась на мужа-то. Да разве его зарежешь, окаянного?

Степная жена бесплодной оказалась, а таежная нарожала и сыновей, и дочерей. Опять же собой видные, ладные. Жить бы да жить. А все дрались, все бунтовали чего-то. Беспокойные. Но к ребятам Мерзликиным все тянулись вроде. Никаких ссор и сражений у них не было.

Иногда и таежная Акулиха гащивала на заимке. Белая лицом, моложавая. Послушаешь — умная, уважения достойная, а ребят своих вроде и не осуждала. Они, мол, за себя стоят. Зацепит кто, так отцепят, чтоб не цеплялись больше. Книжница была, с библией не расставалась. Интересно было слушать ее. Вера у нее какая-то чудная была: и бога не отрицала, а попов да иконы чуть не матерно ругала. Люди ходили к ней вроде как за утешением. Да и сам Акулов, когда надоело разгульничать по деревням, мчался к ней на своем Воронке лихом, на колени падал, прощения просил. Наверно, совесть пробуждалась. Дня три смиренный ходил, ласковый, все проповеди ее слушал, плакал даже. Да недолгое терпение у него. Скучно. Закладывает Воронка и — куда смиренность да кротость деваются! Скачет из лесу. Кутит, гуляет в деревнях и селах, на кулачки мужиков подбивает, зрелища всякие учиняет. А то спор сочинит. На спор крупные деньги ставит Акулов и почти всегда не остается в накладе. И на Воронке своем всегда призы берет.

Сколько ни пил мужик, а вроде и не пьян, может, и тут фокусничал как-то. Ходили слухи: того, другого потряс Акулов — из богатеньких, а поймать-доказать не могли никак. Может, и впрямь Акулов отличался, а может, все на него валили.

В колчаковское время туго пришлось и Акулову. Ловили его. И опять мужики дивились: до чего хитро и ловко колчаков обманывал! Как-то целый отряд ехал ловить его. По слухам, он как раз у своей набожной жены был. Там-то и хотели накрыть его. Зима была, снег сажженный. Дорога желобом. Казаки верхами ехали, вперемешку с санными крестьянскими подводами, гуськом один за другим. На полверсты растянулись. Встречные подводы с дороги — вон! А снег глубокий. Сильные кони и то едва на дорогу потом вылазят, а слабые застревают, их распрягают и за хвост да за гриву на дорогу выволакивают. Ехали казаки, с мужиками переговаривались, мерзли и дивились глубоким снегам. У своротки на Корниловскую заимку остановились — не заехать ли медовухи попить, согреться? А тут, напрямки по снегу, в обгон отряду проскакал кто-то на кошеве. Казаки дивятся, головами качают. Ай да конь! Ай да удалец! И снег не держит! Только пыль столбом. А пока охали да ахали, кошевка обогнала отряд, за березовым колком скрылась. Тут казаки у крестьян стали спрашивать: кто таков ездок этот, на коне сказочном? Не известен ли им? А мужики, хоть и узнали Акулова, а вроде как предположения стали делать. Дескать, в лицо не разглядели, а если по коню судить, то у одного Акулова конь такой быть может. Двужильный. Казаки тут целое избиение учинили. Подводы в снег посталкивали, мужиков плетками отходили. Кони-то ихние по снегу не шибко привычные были ходить. А пока выбрались в голову обоза, Акулова и след простыл. Но деваться ему некуда было: дорога в тупик шла и заканчивалась той деревушкой, где жила его жена.

Что-то спрятал Акулов, что-то с собой захватил и поскакал по лесовозной дороге в глубь тайги. Там коня бросил у стога. Пожитки — на горб, стал на лыжи и — был таков. Казаки лыж не имели, гнаться не могли за Акуловым, но конь им достался. Офицер для себя облюбовал. Мужики после предупреждали офицера: мол, все равно варнак Акулов украдет коня назад. Но офицер будто посмеялся только. А Воронка при охране за крепкими запорами держал. И вот, в одну прекрасную ночь, когда буран подувал, Воронка не стало, как по воздуху улетел. И следов не нашли. Не таков Акулов, чтоб следы оставлять. Специально из кошмы сшил обутки для Воронка-то. Так и укатил подалее.

Свекор, Федор Романович, сказывал, что гулевать в одной компании с Акуловым приходилось еще до того как Акулов сватом сделался Мерзликиным. И сватом он стал, как сын его Григорий женился на сестре мужа Ирининой племянницы. Не ахти какая родня, а все ж таки... Акулов тоже дружбу водил с инородцами. Однажды в татарской деревушке и гулял свекор-то с Акуловым. Сначала, говорит, все вроде ладно шло. Акулов чинно сидел на полу, подвернув ноги, «араку» потягивал. Потом вышел на улицу, Федора Романовича позвал. «Сейчас, — говорит, — потеху устроим. У них такой обычай: если гулянка без драки, то плохо гуляли». Свекор отговаривать было начал, а тот подмигнул только. Пошел да из кошевки четверть водки припер. А после водки-то и правда драка была. Полдеревни дралось. Акулов встрял, конечно. Лупит, потешается. Руки длинные, кулаки крепкие. Как шибанет, так — с копылков долой. А сам ржет, смеется. Очухались побитые — кто жердь выломал, кто за поленья схватился. Не сдобровать бы Акулову. А он — бух ничком, в ноги татарам-то. А у них обычай — не бить того, кто так ляжет. Покорная голова, значит. «Я, — говорит, — всегда так делаю для потехи...»

На свадьбе у племянницы Акулов тоже испытания устроил. За теял «рябка сшибать». Один становится солдатиком, левое ухо ла-

дошками прикрывает, а второй по ладошке-то «рябка бьет». Потом местами меняются. Ну, кто устоит, так — устоит. А нет, так — бог простит. Здоровые мужики были, а смотришь — пятками сверкнут, как Акулов съездит; самого, окаянного, никто не мог сбить. А в гостях в то время кожевник Абабков был. И ростом не меньше Акулова, и в плечах не уже. Круглый, как сутунок хороший. Не встречал в игру-то. А Акулов все тянет его, все испытать хочет. Допек все же. Встал Абабков — пятки вместе, носки — врозь, руками-лопатами левое ухо прикрыл. Акулов — тресь, а Абабков стоит. Не верится Акулову, что он даже с места его не сшиб. Давай, говорит, еще разок. Еще ударил, и опять Абабков — ни с места. Еще давай, говорит. И в третий раз попробовал. То же вышло. После этого Абабков пошел садиться на свое место, а Акулов не пускает. Теперь, говорит, ты бей, чтоб все по правилам, и к тому же знать хочу, не врут ли мужики, что у тебя силенка имеется. Абабков отказывается, а Акулов дразнится: дескать, трусишь и вообще врут, наверно, мужики-то. Вздохнул Абабков, плюнул в кулак, размахнулся вполсилы — тресь Акулова. Не упал Акулов, а из носа кровь хлынула... «Ну вот, теперь верю», — сказал, а сам опять смотрит, на чем бы испытать Абабкова. И вот ведь что удумал, варнак. Давай, говорит, Воронка моего поднимать. Кто поднимет, за тем и верх. А поднимать-то надо было за переднюю часть, чтоб на дыбы встал. Тут у Акулова опыт был, вроде как номер с конем заодно. Сделает что-то, а конь-то и сам на дыбы поднимается. Вот и выигрывает Акулов. А тут опять не вышло. Не понял Абабков условия-то. Залез под брюхо, уперся горбом да руками и поднял Воронка, целиком — все четыре ноги повисли. Тут и сдался Акулов окончательно. За деньгами в карман полез, проигрыш выплачивать. А Абабков крестится: «Что ты, господь с тобой, что ты!» И не взял ведь ни копейки. Добрый был мужик, смиренный характером.

Вот так в праздники и насмотришься, бывало, как мужики силой меряются, фокусы показывают да конями хвастаются.

Двор у Мерзликиных был — с десятину, пожалуй. Чистый, прибранный, травка зеленеет, и все на своем месте стоит — пригоны, амбары, сушилка, погреб, баня. Во дворе же и родничок был. Сруб — над ним и крышка. Подоишь коров — молоко туда и ставишь.

Съедутся гости, двор телегами, таратайками, ходками заставят. И сами наряжены, и кони, и сбруя получше выбрана. А на дугах — колокольчики, шаркунцы, ботальца. Всяк по-своему звенит. И по звону, бывало, отличали, кто едет.

То-то ребятишкам забавно было, как праздник приспеет. А праздник этот не везде в одно время был. Хозяева решали, когда им удобнее. И не в страдную пору, конечно. Даже договор был между селами и заимками, у кого когда съезжий праздник. Мерзликины этот срок определили в ильин день. В других местах были и на троицу, и в крещение, и в покров день.

Отгремит праздник, а потом уж опять — работа, работа, работа. Да бабам и в праздники роздыху не было — подноси да угощай, кушанья готовь да ухаживай, мой да ребятишек опекай. Набегаешься — ноги гудят.

Много было ребятишек-то. Бабы рожать не стеснялись. Да и что за семья была бы без детей?! И непонятно Ирине, почему так: когда хуже жили, так рожали больше, а как лучше жить стали — рожать меньше начали. Хотя и для детей и для рожениц — вон какие условия. Только рожать бы. А бабы, как послушаешь, все недовольны, как в той сказке про разбитое корыто. Ксения тоже — одного выродила, больше не хочет.

Оно, конечно, тут на прошлое ссылаться не годится. Когда-то люди, говорят, и в пещерах жили. Другой век — и другой человек, другая жизнь. Ксения шутит насчет равноправия. Во всем, говорит, с мужиками сравнились, даже превзошли их по труду-то. Да еще и рожать надо. А Ирина своим умом так понимает: рожать и нынче можно. Только надо, чтоб зарплату начисляли не только на работника, но и за ребенка, пока растёт он. И женщины чтоб работали по силе возможности, а не так, чтоб обязательно все восемь часов — вынь да положь.

Дети... Кого любить, как не детей? О ком Ирина больше плачет сейчас, в родительский день? О рано ушедшем Мише. Кто долго пожил и ушел на старости, тех вроде и не так жалко. А кто в юности скончался...

Когда у Ирины трое было, начали они со Степаном жить отдельно от общей семьи Мерзликиных. Свою избу срубили. Хорошая изба, веселая. В ту пору старший деверь тоже отделился, в деревню Стародубку выехал. Второй, по навету брошенной зазнобы, в тюрьму угодил, золовки замуж повыводили. Разъехались — и на мерзликинской заимке взрослого народу совсем немного осталось. Да Ирина уж привыкла теперь, не скучала. С ребятишками и скучать некогда. Слава богу, здоровенькие росли, бойкие, потешные. Свекор и свекровка души в них не чаяли. Младшие деверья — тоже. Романа-то в честь прадедушки назвали.

В ту пору мерзликинская заимка жила еще как бы сама по себе. Свекор, Федор Романович, мужик дельный был. И пчел держал с пониманием, и плотник был отменный, и охотник. Деготь корчажный гнал, пихтовое масло, известку жег, кожи выделывал. Пашни на заимке немного было, тайга не давала распахиваться. Потому сеяли больше овес для лошадей да лен с коноплей, чтоб свои холсты ткать и веревки вить. Всю одежду-обувку сами производили.

На пашне, на сенокосе работала Ирина. С мужем в тайгу ходила, кулемки ставила. Зимой за прялками и кроснами сидела, одежду шила-чинила, за скотом ходила. Да и все бабы так жили в глуши-то.

А ребятишки всегда тут, при работе, суетятся, бывало. И то, что взрослые делали, наблюдали и в играх своих проделывали.

Ох! Опять да опять головой покачаешь! Нелегкая была жизнь. А раз молода была да с мужем хорошо жила, то и вспоминается это время как сердцу дорогое. А ведь что было-то иной раз!

Когда началась коллективизация, так свекра чуть было в кулаки не записали: хозяйство, дескать, большое. А как поделили по сыновьям да дочерям, так ничего и не осталось. Дом пустой. Теперь Федор Романович только пчелами да охотой занимался помаленьку.

Уйдут, бывало, мужики на промысел, а бабы одни на заимке. На ночь Ирина закрывалась на все запоры, укладывалась с ребятишками на чердаке, лестницу за собой затаскивала, брала ружье, палила в воздух для острастки людям нехорошим.

Выстрелы эти запомнились Ирине. Вечер, тишина, тайга кругом, хоть криком кричи — никто не услышит. И вот бабахнет выстрел — встревожится, оживет вроде бы округа, и пошло, пошло в ночи по глухим логам эхо шариться. Долго и гулко гуляет эхо. А тут опять выстрел грохнет. Да еще, спасибо собакам, — лай поднимут, зальются, рыскать начнут. Охотничьи собаки-то. Всякий выстрел будоражит. А в тайге в те поры немало скрывалось вражин всяких: и сынки кулацкие, и конокрады, и другие, не согласные с народной властью. Все ждали, наверно, что власть переменится. Боязно было на заимке...

Так все лето и прожила Ирина. Степан то промышлял в тайге,

то в степь, в люди уезжал надолго, чтоб узнать, как жизнь в деревнях устраивается. Ездил, ездил и к зиме в колхоз надумал. А раз в колхоз да в партию собрался, то неудобно показалось ему иконы держать на божничке. А Ирина тогда еще держала иконы. Немыслимо казалось без икон. И разлад у них получился. Сам-то он табакур и безбожник. Ничего не боялся ни в тайге, ни на кладбище, хоть днем, хоть ночью. Специально ездил Степан советоваться куда-то насчет икон. Приехал, трубкой пыхтит и посмеивается. Ладно, говорит, матка. Можешь оставлять свои иконы-идолы. Пусть стоят покамест. Потом сама уберешь. И ведь правда так вышло, что иконы потом не стала держать Ирина. Сначала сняла да в сундук схоронила, потом раздала по старушкам.

Степан, когда выезжал в люди и пушнину сдавать, так гостинцев ребятишкам завезет, бывало: ситчику, сатину, фланели, бязи, керосину, спичек, соли и — обязательно картин с породистыми животными и новыми машинами. Развесит все это по стенам: смотри, матка, какие в колхозе будут коровы да овцы, какие жнейки и молотяга! Смотришь — и диву даешься.

В колхоз Ирина не сразу надумала пойти. Спорили со Степаном. Давай, мол, еще годик подождем, посмотрим, как пахать будут в колхозе, как сеять, какой урожай будет, что людям достанется. А нынче уж как раньше проживем. Посеем пашенку, сена заготовим, кротов половим. А Степан свое: в колхоз, в колхоз! И вдруг приезжает исполнитель на телеге. Те самые семена, которые Ирина планировала сеять, которые всю зиму по зернышку отбирала и два мешка набрала, оказывается, надо в колхоз отдать. Ох, расстроилась Ирина! Горячая была. За ружье схватилась: не дам, мол, детей оголодать! Степан ружье-то выломал из рук, в избу втолкал, дверь жердиной подпер, чтоб не мешала. Вот так и «сагитировали» Ирину окончательно в колхоз.

Поплакала маленько, успокоилась, на колхозную работу ходить стала. Пашни как раз посередке были, если идти с заимки на Стародубку. Председатель знакомый, бригадир знакомый. Объяснили Ирине, сколько земли в колхозе, сколько на душу ее приходится. И получалось, что больше даже досталось им со Степаном, чем на заимке было. Ну а дальше уж зависело от того, как наработаешь.

Пока шла посевная да прополочная, Ирина с ребятишками на заимке жила, а Степан — на Стародубке, напрямую так всего три километра пути. К уборочной переехали в колхоз окончательно. Жили в избе деверя.

Осенью первый хлеб получили. Вроде и ничего — жить можно. Картошка была, корова доилась. А потом еще и зимой молотили хлеб-то, еще кое-что досталось на трудодни. Управились с хлебом и — на «кубы», лес заготовливать. План был.

Работа в ту зиму досталась бабам колхозным, прямо сказать, мужская. Мужиков дальше в тайгу направили на «кубы», а бабам отвели деляну вблизи от деревни.

Ночи длинные, зимние; морозы трескучие. Встанешь задолго до свету, затопишь печку железную, чтоб избу нагреть. Потом и за большую печку принимаешься. И еду надо готовить, и хлеб выпечь, и корову подоить, и на работу собраться. Рассветает, а у тебя уже все как надо: и щи сварены, и хлеб выпечен, и узелок с обедом завязан, и в избе тепло, и завтрак ребятишкам на столе стоит. Будишь их, наказываешь, как домовничать, а они — за шею тебя ручонками, не отпускают. Кое-как уговоришь, насулишь того и другого из лесу привезти, гостинчиков от лисички и зайчика, шишек пихтовых, серы жевательной.

Попервости с полмесяца ребяташки одни домовничали. А какие еще были-то! Роману шесть годков минуло, Егору — пять, а Мише — три. Днем они и корову напоить на прорубь сгоняют, и сенца дадут ей, и кур откроют да покормят, и в пригоне по силе возможности почистят. И на санках еще успевали покататься.

В лес чуть свет выезжали. Еще звезды виднеются, еще стыло и глухо кругом, еще сквозь морозный туман и дорогу-то плохо видно, а уж зашумел, заскрипел санный обоз, тронулся. Ехать было версты три. Подстегнешь лошадей, чтоб быстрее добраться, зря не мерзнуть. А на работе-то и мороз — не в мороз.

На деляне — высокий строевой пихтач, и речка для сплава — рядом. В пихтаче сутунки готовили, потом их на берег вывозили и в штабеля складывали. Снег глубоченный — в рост человеческий. Возле каждой пихты лопатой его отгребаешь да отаптываешь, пошире. Надо по всем правилам дерево свалить, чтоб пенек низкий остался. Как подрубить, откуда запилить, куда свалить — все разуместь надо. Большая сноровка требовалась. Да не всякое дерево стоит так и туда падать желает, как тебе хочется. Приходилось в несколько рук и шестами упираться что есть силы. В пору надорваться было, а ничего, бог миловал.

Упадет дерево со стоном великим, хряснется, стеганет так, что снег до вершин поднимается, а ты его опять окапывай, отаптывай, сучья обрубай, на сутунки распиливай, шесть метров длины сутунок-то. Бродишь по снегу по пояс в пимах и мужских чембарах навывпуск. Потом на сани да на подсанки сутунок-то заваливать станешь. Оно, конечно, стяжками и вагами поддеваешь, подваживаешь, но все равно работа, по-хорошему-то, не бабья была. Набродишься в снегу, домой потом едешь, так будто шаман побрякушками звенишь — одежда льдом возьметса.

Вечером, когда дома управишься, — на ликбез бежишь, букварь учить, считать, писать. Всего одну зиму ходила Ирина, а буквы и слова складывать хорошо научилась, считать и писать помаленьку.

Потом, когда ребяташки в школе учились, довелось побывать Ирине и в школе на уроках. Любо смотреть. Сидят крохотные человечки, а уж тебе и читать, и писать могут, бойко так рапортуют. Подивилась, позавидовала и пожалела Ирина, что в свое время вот так-то не пришлось учиться. Ликбез только читать-писать да считать научил. А в школе вон еще всякие другие науки. Смех и грех, бывало. Сидят мужики здоровенные, заскорузлые, а мозги-то у них вроде как жернова — тяжелые. Лбы морщат, тужатся, как при самой тяжелой работе, потом обливаются, а две-три буквы влад сложить не могут. Иной, сердечный, мычит, мычит, как бык породистый, мается, мается, так и ты с ним вроде намучаешься — все помочь вроде стараешься. И вот еще раз подумаешь, что смолоду, с детства учиться надо, пока мозги свежие, не усталые, не забитые взрослыми думами. И все-то кажется Ирине, что бо-ольшим человеком была бы, если бы училась в школе и дальше, как теперь учатся.

С лесом в ту зиму бабоньки — куда с добром управились! Ирине и товаркам премии дали, на собрании хвалили.

Весной правление постановило, чтоб бабы с огородами сначала управились. А как управились, на прополку пошли. Хлеба-то все вручную пропалывали. И нельзя сказать, что сеяли мало, а успевали и с прополкой. На полях — чистота и порядок. Правда, поля на Стародубке небольшие были, не как в степи. И лес кругом. Степан да кое-кто из правленцев доказывали, бывало, что хлебным делом на Стародубке невыгодно заниматься, лучше промартель сделать. Но из района дру-

гая установка была — пахать, сеять, корчевать, расширять пашню. А раз так, то что ж. Пахали, сеяли, корчевали.

Как поднимутся зеленыя, так все бабы и подростки — на пашнях. Лишь самые малые да старые дома. С той весны и до зимы Ирина звеньевой была. Девять баб, сама десятая. И тоже: так ярко, так хорошо запомнилась та весна!

Утро. На колхозном дворе, на берегу Чапши, шумят мужики. Вспомнишь, так они всегда шумели чего-то. То работа кому-то не та досталась, то сбрую плохую выдали, то коня не того, то соток бригадир мало начислил. Шумят, а все ж таки шевелятся. Кто лошадей запряг, кто воза уложил, кто повозку или сбрую починил, кто пилу и топор наточил. Колхоз-то лесной. Оно и летом заготовку всякую делали — оглобли, полозья, дуги, бастрики, деревянные снеговые лопаты, косьевища, греблевища, вилы, деревянные. Да еще известь выжигали, и деготь, и пихтовое масло гнали.

А у баб — свое дело. Раньше всех, вместе с коростелями стучат отбойные молоточки — старички бабам литовки отбивают, для прополки готовят. Надо хорошо отбить-наточить, выправить. А литовки малюсенькие, специально для прополки изготовленные. Поддевай носком сорную траву, срезай — ходи, ходи. Наловчились бабы, быстро двигаются. Подростки стараются не отставать. И — пошел, пошел по пашне! Сколько за день хлеба очистишь! После прополки-то самая сорная пашня и то глаз радует — гуще и зеленей становится, хлеба в рост идут.

Иринино звено раненько выходило. Вот вскинули бабы литовки на плечи, узелки с едой на руки надели, пошли за речку, через мост или через брод. Потом — по лугу, по косогору, по гривам. С песней идут, а литовки — будто знамена над головой. Идут к чистым покатым и перевалам, где лес раскорчеван и пашни распаханы. А лес на гривах вымахал высокий, сочный, гулкий. Внизу — кроты роются, черемша растет, первая травка зеленеет, цветы горят. Вровень с плечом калина цветет, цевочник, волчья ягода. Выше — черемуха, рябина, тальники. А всего выше — молодая листва осин, берез да пихт вершины. В лесу этом песня как живая отдается.

Сначала лес лишь сверху солнышком осветится. Потом там и тут наискось пробьют его светлые, лучистые полосы, и видишь росинки в радугах и рой мошкары, и как паучки карабкаются по своим канатикам, как пчелы начнут мелькать. Дрозды шумят, кукушки завелись...

Вот и пашни, зеленыя... Зайчишка запоздалый наутек пустился. Зайчишкам тут есть где прятаться, кормиться. Обочь пашен после корчевки — сплошные завалы хвороста, лесин, пней и корня всякого.

Бабы укладывают узелки под кустом, укрывают чьей-то скатеркой, повязывают передники, становятся рядом и — за работу. Мелкий сорняк срезаешь и тут же оставляешь, а крупный, лапушистый — в передник складываешь, потом вываливаешь на обочинах в межах. День разгорится — бабы подола подоткнут повыше, платки козырьками повяжут. Жара не жара, работают.

Это неправда, что по пашне, по выходам и пройти нельзя. Человек — не конь, нога — не копыто. Если ходить с выбором, так ничего хлебушку не делается. Нынче вон, говорят, даже прикатывают посева-то.

За день, с разговорами да с песнями, сколько дела сделаешь! Вроде намаешься, а домой опять же — с песней. После хорошей работы на душе хорошо. Да и чего не петь было? Молодые, здоровые, компанейские.

Хлеб вырастал намолотный. Сказывать теперь станешь, так кое-

кто не верит, что и тогда урожаи бывали хорошие, а годы хлебные...

Ах, хлеб-хлебушко! Давненько Ирина не едала своего, алтайского хлеба. После ильина дня обязательно напечешь, бывало, булок да караликов из пшеницы первого обмолота. И себе радость, и ребятишкам. Хлеб-то на дрожжах пекли, на опаре да с хмелем еще. Испечешь, так не то что по избе — по всей деревне вкусный дух идет. Ребятне лучшая еда — свежий, парной хлеб с молоком. За уши не оттащишь. Да и всякому человеку приятно. Ведь они какие, булки-то! Высокие, легкие, ноздреватые внутри, как соты пчелиные. Придавишь булку, а она, матушка, тут же и выправится, в свою форму войдет. Катаные булки,стряпанные, ладошками хлопанные. Выкатаешь, выхлопаешь да еще на столешнице оставишь потомиться, выдержаться. А как печь протопится, угли в загнетку сгребешь, золой присыплешь, веником под выметешь — веник-то на черешок насажен как метла, — булки посадишь на лопату да — в печь. Лопата гладкая, деревянная, мукой ее присыплешь. Сидят булки в печи, откроешь заслонку, посмотришь, а они — румяные да высокие! А вынешь, обметешь крылышком да в сельницу уложишь, скатеркой прикроешь, чтоб отмякли, так прямо не надышишься. Разломишь булку, а она вся в пещерушках, в перегородочках, с воздухом ароматным. Не зря побывальщину сказывали: «Старуха послала старика в кладовку булку хлеба принести. А у одной булки корочка поднялась и пустотка внутри. А в эту пустотку-то возьми да залезь котенок. Глазки светятся. Старик принес две булки, спрашивает: «Тебе, старуха, какую булку-то, с глазками или без глазок?»»

Может, поэтому Ирина первый свой хлеб с таким восторгом вспоминает, что молода была, что все тогда глянулось, и даже тяжелая жизнь сейчас радостью вспоминается. Но и того не скажешь, что память у Ирины одно прошлое помнит. Насчет теперешнего житья тоже понятие имеется. Конечно, во всякие там науки Ирина не суется. Книжки читать стала она уж на шестом десятке. Роман да Бориска приставать стали: хоть, мол, одну книжку одолей, а там пойдет. Ох, намучилась она с этой первой книжкой! Толстенная! Как в тайге экспедиция ходила. Такие страсти, такие страсти описаны! Чего только людям испытать не приходилось!.. И правда ведь! Еще и еще читать захотелось. Пошла очки выписывать. Глупая, не знала, что с очками-то куда как лучше. Глаза устанут, отложит книжку, приляжет или в доме прибирает что-нибудь. Потом опять — за чтение. Первую книжку больше месяца читала, вторую в полторы недели одолела. Читала бы каждый день, да глаза шибко устают. Не те глаза-то стали.

Насчет того, чтоб писала Ирина, тоже Роман с Бориской доняли. Стеснялась Ирина писать каракули свои. Писем не писала до последнего времени. Бориску и Романа все просила. С тех пор, как с Алтая на Амур переехала, без родственников скучно стало. Все там, на Алтае, живут, только через письма и поговорить можно. «Пиши да пиши, бабка...» А Ирина стесняется — засмеют, какой из нее писака?! А они опять: «Пиши. Умный не засмеет, а дуракам — закон не писан...» Сподобилась Ирина, написала младшей сестре. Адрес Бориска подписал. И что вы думаете?! Пришел ответ с благодарностями и вроде со слезами даже. Сестра отвечает: прямо как с живой с тобой поговорила. Твои, говорит, слова-то. Как говорила раньше, так и написала... Правда, не сама сестра написала — она и каракули писать не научилась, — а муж ее Аверьян Андреевич. Тоже каракули одни, хотя и председателем был в войну-то. На фронт не взяли — глаз один не в порядке.

Адреса Ирина в блокнотик повыписывала. Кто где живет, разузнала. И вот теперь, почти каждый вечер, а то и днем сядет и поти-

хоньку письмо напишет со всеми подробностями насчет здешней жизни, цен, погоды, здоровья и лечения болезней. Теперь у нее больше десяти адресов — со всеми переписка наладилась. Иной раз как распишется, так — листа четыре! Письмо едва в конверт войдет.

Что ж. Грамотой да наукой книжной Ирина небогата. Не пришлось натореть. Так жизнь сложилась. А что касася хлеба да жизни крестьянской, так тут она хоть с кем поговорить может. Вот к Роману захаживает друг агроном Аркадий Савелыч Пеньков. Над новыми сортами бьется. Так у него всегда с Ириной разговор находится. Опять же с хлеба началось. Покушал он как-то Ирининых постряпушек и давай хвалить. Вот, дескать, и мука такая же, а хлеб вкуснее, чем в магазине. И записал даже себе в книжечку про то, как стряпает она и как раньше стряпали. А после-то в газете статья была. Аркадий Савелыч призывал беречь хлеб — труда на него столько ложится. И выпечку предлагал по другим рецептам делать, чтоб хлеб в радость был. Ну а с Романом у Аркадия Савелыча разговоров всегда много. Мудреные бывают разговоры, ученые, сказать, не все Ирине понятные. А вот насчет ядов понятно. И ей так же кажется, как они говорят. Да если бы, говорят, по-другому как с сором бороться научились, так ни за что бы яды не применяли!

Роман с Аркадием Савелычем за то стоят, чтоб с сором природным способом бороться — паровать земли-то. Да все не могут переспорить кого-то. А так-то, говорят, что получается. Пчелы должны летать по полям, мед собирать и плодотворную пыльцу разносить, чтоб урожай выше был, а мы пчел заодно с сорняком убиваем. И не только пчел — всякую другую насекомость. А насекомость — для птицы кормежка. А птицы всяких вредных червячков и букашек склевывают. Вот и потянулась, глядишь, веревочка. Одно тронь — и другое рушится. Еще неизвестно, как аукнутся яды-то!

Аркадий Савелыч пришел как-то и ругается, головой крутит. До чего, говорит, народ дурной бывает. Сколько доказывать, чтобы листву осеннюю в городе не жгли, а свозили в одно место, а они опять сожгли! Это же такое удобрение, когда перегной из листвы получается! И пыль, которую в городе с улиц собирают, Аркадий Савелыч предлагает не на свалку валить, а в специальное место. Тоже удобрение хорошее.

После одного разговора с Аркадием Савелычем Ирина даже в письме у сестер спрашивала: как там теперь? Как хлеб пекут? Какую прополку делают? Скотину держат ли? Урожай хороший ли?

Сама-то она ни одного кусочка не выбросит. Как накопятся кусочки, так она — на сухари их. А сухари — и с молоком, и с супом хорошо, и в котлеты годятся. А когда поджаришь их да отваришь потом, так квас какой получается! Хлебный квас!..

Аркадий Савелыч ругался насчет пекарен. Не во всяком месте хлеб свежий выпекают. Бывает, мол, на весь район — одна пекарня. Кто-то посчитал и доказал, что это выгодно. А какая же выгода? В копейках, может, и выгода. А для души и для здоровья, сказать? На такое расстояние хлеб возят! Ну, зерно возить проще. А булки как возить? Ведь надо, чтоб они в радость были, чтоб тепленькие, пышные, ароматные, свежие. А пока их везут да трясут по дорогам, так последний дух из них вылетит. Ломаные, да сыпучие, да простуженные булки-то, которые в родные места возвращаются. Ни запаха доброго, ни вкуса...

Конечно, оно вроде бы и не ее дело — думать о том, как хозяйствовать на земле да как хлебом распорядиться. А горестно бывает, когда не так что-нибудь. Если много хлеба стало, так и обращаться с ним

как попало можно? Хлеб всегда радость давал. Хлеб был главой всему, есть, будет! Как же не думать о нем? С детства до старости одна забота была — хлеб. Как лишний раз не позаботиться о нем, если до смерти запомнились неурожайные годы, когда люди умирали, если где-то и теперь умирают голодные дети? Слышит Ирина по радио, что очень много еще людей на земле живет голодом да впроголодь. А тем, кто с капиталом, это выгодно даже. Ведь он, голодный-то человек, за полцены пойдет работать. А если еще семья, ребятишки? Бедняк жилы тянет, а паразит все туже карман набивает и командует как хочет с деньгами-то. А как бунт какой, так подачки да подкупы. А то и стреляют в народ. По телевизору показывали. Господи! Паразитство какое! Подлость какая!

Многие, чья далекая уже молодость пришлась на голодные годы, и теперь помнят, что наивысшим, каждодневным желанием было — как бы где поесть досыта. И во сне это снилось. И кто не голодал, тот горя не видал.

Однажды большой голод приключился. Повсеместно неурожай вышел. На трудодни ничего почти не досталось, а купить — все очень дорого и негде. До весны кое-как дотянули, а там — хоть зубы на полку.

За весну почти все барахлишко продали, променяли на картошку, на льняное да конопляное семя. Какие скатерки были! А тулуп! Совсем новенький. И все было своими руками сделано. Взять те же холсты и скатерки. Вырастет лен, рвешь его да смотришь: сорный или чистый. Если сорный, так небольшими пучками укладываешь, головками на головки, крест-накрест, чтоб просох лучше. А чистый, так сразу и снопики вяжешь, ставишь балаганчиком. А как выветрится лен — колотишь его, обмолачиваешь, по лугам по кошеным стелешь. Четыре недели он вылежать должен. Бывало, отава зеленеет, а по ней светлые полосы тянутся — лен лежит. Потом лен собираешь, в снопы вяжешь и к бане возишь. Набьешь баню снопами под потолок да раза два в сутки протопишь.

А как высохнет лен — мять начнешь. Лен, который хорошо вылежался, аж сизый делается, так и светится, как шелковый. Оно и когда лежит-то, так все смотришь его, на излом пробуешь — не дошел ли?.. Мнешь лен, потом треплешь, потом грести, чесать станешь. Отрепья — это один сорт. Их либо на подстилку скоту, либо на дерюжки прядешь. Изгребь — те получше, так идут на половики и опять же на дерюги. А начеси уже и на холсты годятся. Но самый высший сорт — чистый лен, горстями выложенный, прядями. Ниточка из него тонкая, гладкая, крепкая. Этот годится и на постегонки, и на дратвы, и на самые тонкие холсты, и на скатерти, и на полотенца, и на рубахи. Выткешь холсты-то да еще по снегу отбеливать выстелешь. Снег растает, травка взойдет, а холсты все еще лежат, бывало, отбеливаются на ветру, на солнышке. А чтоб лучше отбелились, возьмешь их, в речке помочишь да опять постелешь. Как коленкор сделаются.

С коноплей еще больше делов-то. Сначала посконь вырвешь, в суслоны составишь, потом ждешь, когда сама конопля подойдет. Рвешь потом, корни околачиваешь и тоже — в суслоны. А суслоны в сажень высотой! Конопля-матушка вымахает, бывало, — мужика с конем скрывает. Постоят суслоны, высохнут — в обмолотных. Вальками да цепями. Как надышишься конопляного духу, так вроде пьяной сделаешься. Потом вымачивать коноплю в озеро или в ключ опустить да придавкой придавишь. Долго мокнет конопля, не соврать бы, недель шесть-семь. Потом уж по снегу вынимают ее да снопами вдоль изгородей ставят выветриваться. Только уж весной ломаться она ста-

нет да волокно отставать начнет. Тут и ногами ее топчешь, и об угол хлещешь, и на мялках мнешь.

Как подумаешь теперь: сколько труда на пустячное дело тратилось, так обидно даже. Теперь-то что? И в магазине любое полотно купишь. В работе — два выходных. Да еще праздники. А у молодежи, посмотришь, вообще чуть ли не полная свобода. Бориска, сказать, ну ничего физически делать не стремится. В магазин и то не всегда пошлешь. Учится, конечно. Так и то вроде — шаляй-валяй. А время такое: только бы учиться, придумывать что для пользы ради.

Про голод да про холод станешь сказывать, а им вроде и не интересно. А ведь не хвастовства ради сказываешь, как страдали, а чтоб ценили они, теперешние люди, жизнь свою, не убивали ее зазя и хлеб не изводили попусту.

Старшие-то помнят про голод. Роман с Егором помнят.

А на следующую весну Ирина простудилась шибко. Как раз большая корчевка была под новые пашни. Ходить за две речки надо было. Утром пройдешь посуху — вода сбежит за ночь, а назад идешь, так от горы до горы сине, все водой снеговой залило. Пока перебредешь, ноги с пару зайдутся. Красные, как гусиные. Бегом припустишь. А там другая речка и тоже вся из себя вышла...

Ирина да товарка ее враз заболели, в один день. Товарку сколько ни лечили — померла зимой. Все в груди болело. Придешь проведать, а она кашляет. В груди-то, как в пустом бочонке, булькает, гудит.

Одолела Ирина болезнь, но была уж не работница, а раз не работница, то где же Степану одному всех прокормить. Тут-то и решили поехать на прииск к сродственникам.

Лето и зиму перебились у сродственников, а весной Степан затеял свою избу рубить. На прииск на своем меринке приехали, по дешево купили — кривой был. А с конем и заработок больше выходил, и лес на избу — не на себе возить.

Весной, когда вода, на прииске — самый заработок. И на хлеб, и на сахар, и на масло Степан зарабатывал. И одежду-обувку справили. Не гневя совесть, славно жить начали. Хлеб белый ели из сеянки да крупчатки. И у Ирины здоровье на поправу пошло. Без работы и она не сидела. Конечно, с каменной и земляной работой ей еще не управиться было, а на сенокосе да в огороде — все она да она. Конь, корова, телка появились. Вон сколько сена требовалось! Ирина с ребятами по лесу ходила, всякую свободную елань выкашивала. Ничего, насшибала сена-то. Правда, не то, что у людей. Нёкось, она и есть нёкось, крупная, с дудками, со всякими будыльями. Но все же и это — сено. Ребятишкам литовочки маленькие купили и наладили. За лето и они научились косить помаленьку. И картошку на зиму накопили, и в свою избу вошли. Чего еще!

Ирина и сруб рубить Степану помогала, и тес да плахи маховой пилой пилила с ним. Это он на заимке научил ее, когда от свекра отделились и свою избу ставили. Жители приисковые — трудовой народ, и те дивились Ирининой сноровке. Стешет Степан сутунок, шнуром на угленным разметит, на сколько тесин или плах распилить. Потом закатят они его на козлы, укрепят как надо. И вот Степан наверху стоит, пилой помахивает да трубкой попыхивает, а Ирина на земле, под сутунком, с другого конца пилы старается. Так на всю избу и напилили — и на пол, и на потолок, и на крышу. А пилить, правду сказать, Ирине глянулось даже. Когда втянешься, так оно и — ничего. Щепки, опилки, смолой пахнет, жуки-стригунцы налетят. А дорожка-то под сутунком

вся из опилок, чистенькая. И дело споро идет. А маховая-то пила, она широко шумит — ш-ш-ша!.. ш-ш-ша!..

В своей избе и вовсе ладно зажили. Ребятишки в рост пошли. Роман с Егором по отвалам с лотками бегать начали, золотишко помыть. Уже — помощь отцу-то. И кулемки на кротов у отца научились ставить. То золотишко, то кроты, вот оно и — добавка к отцовскому заработку. И на пашне, и на сенокосе хорошо помогать стали Роман с Егором, и со школой наладилось — оба в четвертый класс пошли. А Миша — в первый. Ничего, что за четыре километра школа была. Утречком, раненько поднимутся, позавтракают, сумки соберут, обуются, оденутся, встанут на лыжи и — пошел. Скрип да скрип — далеко слышно по морозу-то.

Глянулось Ирине на приiske. Весна придет — гул стоит. Места все — покатые, горные, а снега глубокие. Как начнет таять, так в каждом логу и ложке вода бушует. А тут и лес набух, расправился, зеленой подернулся. Гулко в лесу, и на каждом шагу пташки поют, о своей жизни-радости заявляют.

Тут и огородные хлопоты начнутся. Пчелки заработают — с вербы, с первых цветов взятки берут. И кулемки ставить пора, и золотишко мыть успевай, пока воды в досталь.

Лето и осень тоже — благодатное времечко. Ребятишки, и те как жуки копаются, хлопчут. Ирина и ребятишки — по домашности, в огороде, в поле и на сенокосе управлялись, а Степан — на производстве. А после работы прибежит домой, поест наскоро, ружьишко — за спину, собак кликнет и в чернь пошастает. И все принесет что-нибудь. И пахло-то от него всегда по-черновому — кореньем лесным, смолой, порохом и табачищем.

Хорошая жизнь зачиналась. И в колхозах, сказывают, дело пошло на поправу. А тут — война, будь она трижды проклята!

Война в июне началась, а Степан ушел в октябре. Снежок выпал, на санях ехали. Кто поет, кто плачет да обнимается. Степан никогда не плакал, а тут и он прослезился. Испытал, что оно такое — война-то. На действительной с белыми китайцами воевал. А тут немцы. Все знали: с немцами-фашистами воевать всех тяжелее. Они, говорят, на войнах и жили только.

Степан-то как чуял, что не вернется. Прощайте, говорит. Прощай, жена, прощайте, детки! Не обижайте мать, слушайтесь. Вы теперь мужики в доме. Держите честь эту высоко.

Раньше, когда уходил куда, так не оглядывался, а тут сколько раз оглянулся, рукой помахал.

В тыловых городах сколько-то пробыл Степан, а там и на фронт. Не так уж много до конца войны осталось, когда погиб Степан. Гитлеровцев уж всю гнали, к Берлину ихнему шли. А в Прибалтике вроде загвоздка получилась: бои сильные были. Тут и погиб Степан. В пулеметчиках был.

Думает Ирина, вспоминает. Пятнадцать лет со Степаном прожили. Ей было тридцать шесть лет, ему на год больше, когда расстались навсегда. Нельзя сказать, чтоб совсем не ссорясь прожили. Да у кого их, ссор-то, не бывало? Больше всего Степан не любил, если Ирина скупость где-нибудь проявит или к человеку не с полным доверием отнесется. Прямо как медведь глазами засверкает! А скупость-то, если подумаешь, отчего была? Родилась в нужде, росла в нужде и все берегла что-нибудь, все экономила. Привыкла... А в главном-то прожили хорошо. Степан людям худа не делал. Всегда, как что себе взять можно, так он людям уступит. Правда, смолodu маленько ревнив был. Попляшет, бывало, Ирина, с кем-нибудь на гулянке — так он запыхтит труб-

кой, глазами резанет. А потом и тут к лучшему поменялся. Сам, бывало, заставит плясать: «Вдарь! Спляши, Ильинична!» А то «маткой» назовет.

С ребяташками Степан баловался да нежничал, пока маленькие были. А потом в суровости держал. Да с ними, с погодками, иначе-то и трудно было. Пожалел одного, так и другого пожалей. Провинился один, а наказывай сразу обоих, чтоб сами потом друг дружку поправляли.

В тайгу Романа с Егором Степан лет с восьми водить начал. А там и колодник в полсажени толщиной, и комарья — тучи, и дождь, бывало, льет, и гром грохочет, молнии сверкают. Да то в гору, то под гору, то на скалы, то со скал лезут. В последний год и на кедры вместе лазали, ночами домой возвращались. А уж кротов ловить, так тут ребяташки наравне с отцом стали. Путик протопчут, бывало, по гривам да по релкам, верст на двадцать. Уйдут в одну сторону, а вернутся с другой. Путик-то, оно так и надо делать, чтоб круг был, чтоб все время вперед идти и домой вернуться. Коня возьмут на прииске, хомут наденут, постромки подлинней привяжут к гужам, а к постромке коряжину суковатую пристегнут. Как проедут, протянут потаск по траве, по земле лесной податливой, так сзади дорожка остается. И трава примята, и земля вроде как пропахана маленько. И каждую мякоть, где кроты в земле ходили, затоптать надо, чтоб узнать потом, ходовая тут нора или брошенная. Если ходовая, так крот обязательно подымет землю, исправит ход свой. Тут и ставь кулемки: одну с одной стороны, другую — с другой. С какой стороны пойдет крот, с той и поймается. А часто и с обеих сторон.

Бывало, пар пятьдесят кулемок-то поставят. Сам на работу бежит, а ребяташки, чуть роса подсохнет, кулемки проверять идут. Соседи диву даются: ребяташки не просто идут, а подпояшутся, как большие, ножи к поясам привесят, топорики заткнут, сумки — на бок да еще связку заготовок к кулемкам возьмут, будто кренделей через плечо навесят. И айда в тайгу, по путику. Собаки с ними бегут. Оно и веселей.

Попадется крот — в сумку, а ловушку опять насторожат как надо — и дальше. Идут, посвистывают братцы, о книжках прочитанных толкуют и о другом о чем-нибудь. Свои задачи решают. А где крот пройдет, так новую ловушку ставят.

Да еще и бурундучишек прилавливали. Собаки загонят бурундука на куст, а ребяташки оттуда его — петелькой на удилице. Сорок копеек тогдашними деньгами бурундучиная шкурка стоила. А кротовья — рупь двадцать, первый сорт. Бывало, кротов сорок принесут да еще бурундучишек сколько-то. Вот и подспорье в доме. И государству польза. Отец с работы вернется, а ребяташки из тайги уже явились, кротов свежуют, шкурки обрабатывают и на тесину для растяжки приколачивают. Поиграться лишнего некогда было.

Зимней охоте отец тоже научить успел. Петли на зайцев ставить, капканы. На колонков, хорьков, горностаю и ласку — маленькие капканчики.

Без отца все это ох как пригодилось! И как подумаешь, так суровость-то отцовская на пользу обернулась. Рано жизнь кончил, а детей всякому делу научить успел.

В доме было по-прежнему тихо, пахло свежее испеченным хлебом и кухонным теплом. На стене тикали подаренные Егором часы с боем. За окошком галдели воробьи и глухо погудывал город.

Ирина сидела в своей угловой комнатке за столом. Она уже про-

смотрела почти все фотографии и вновь уложила в пустые корки от букваря. Потом она эти корки перевяжет шелковой ленточкой. Одна большая карточка в рамке висела на стене, против стола. Там Степан и Ирина сидели рядышком. Это через семнадцать лет после смерти мужа заказала Ирина такую — чтоб рядышком. Мастак фотограф Степана взял с карточки, где он был в военном полушубке, в ремнях и в шлеме со звездочкой. Тогда он на действительной служил. Но шлем фотограф убрал, чтоб гражданским и домашним сделать Степана, и чуб нарисовал. Полушубок тоже заменил пиджачком. Да еще — чего сроду не носил Степан — галстук нацепил. И вот сидит он, молодой, нарядный, как сейчас молодые люди одеваются. А Ирина рядом. Ее фотограф взял с другой карточки. Тут она лет на четырнадцать старше Степана. В простом старомодном платье. Но фотограф и ее принарядил — белый кружевной воротничок приладил, как школьнице. Да все равно видно, что Степан — совсем юноша, а она уже зрелая женщина. Кто не знает, подумать может — мать с сыном или сестра с братом младшим. Ирине очень глянется эта карточка. Степан-то прямо как живой сидит. Серьезный такой.

Потом Ирина достала его письма. Он-то писать научился в армии, но почерк у него тоже, как у Ирины. Удивительно даже. Точно такие же растянутые и угловатые буквы.

Письма от долгого хранения совсем истлели, и трудно стало разбирать, что в них. Ирина решила переписать их на свежую бумагу. Почти все уж переписала, и трудно даже отличить ее почерк от мужа. Почто уж так вышло? Говорят, у всех разный почерк, а тут — на тебе!

Одно Степаново письмо было написано на желтой бумаге, кажется, на махорочной обертке, химическим карандашом. Может, писал он его на коротком привале, в окопе прямо.

«Письмо от вашего мужа и отца. Добрый день, дорогая жена. И шлю я вам свой горячий привет, и желаю всего хорошего в вашей жизни, и желаю доброго здоровья. Еще шлю горячий привет своим дорогим детям Роману, Егору, Мише и Марусе и желаю всего хорошего в вашей жизни, и желаю вам доброго здоровья и счастья, и талана. Я получил от вас пять писем. Два от Романа, одно от Егора и два от Миши, за которые благодарю вас сердечно. Гоша, вы думаете ехать учиться. Конечно, учиться надо, но как в части продуктов? Наверно, очень трудно будет. Смотрите сами, вам, конечно, виднее, но я думаю, очень трудно будет вам из-за продуктов. Ну пока, Гоша, все. Ну так давай, Роман, теперь с тобой поговорим. И тебе придется послужить, наверно. Но это ничего. Я думаю, вам воевать не придется, без вас закончим, возможно. Смотря какие успехи будут. Ну а вы, Миша, учитесь со сватом Николаем Федотовым. Потом женитесь. Но пока до свидания. От сего письма остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Мерзликин С. 2 сентября 1944 года».

В письме Степан и Марусе поклон послал. А родилась она без него, в мае сорок второго. На сносях Ирина оставалась. А насчет Мишиной женитьбы шутил. Миша да сватьи Федотихи внучек Николка одногодки были и дружки большие. Степан все игрался с ними с маленькими и женитьбой шутил. А когда письмо это пришло, Мише и Николке уж по двенадцать лет минуло. Может, и не совсем шутка получилась. А Роман да Егор к тому времени по семь классов закончили, и, чтоб дальше учиться, надо было за двадцать километров ходить и у кого-то на квартире жить. А с продуктами, конечно, самая трудность была в конце войны. Роман хотел до армии дома пожить, потом надумал ехать в техникум.

Читая это письмо, Ирина вспомнила, как Степан однажды пошутит, придя с работы. Дескать, и маленьких, если они грамотные, скоро на войну брать будут. Это он сказал, чтоб проверить, как Роман с Егором поведут себя. А они, дурачки, обрадовались, взялись жребий тянуть, кому первому идти на немца, а кто с матерью останется.

Подпослед Ирина всегда читала письмо, которое муж написал раньше, но оно было необычное, как бы прощальное.

«1944 год. 31 марта. Письмо от вашего мужа. Добрый день, дорогая жена, И. И. Шлю вам свой горячий привет и желаю всего хорошего Роме, Гоше, Мише и Марусе, и желаю всего хорошего в вашей жизни, и посылаю вам свое отцовское пожелание быть здоровыми и счастливыми. Я нахожусь на передовой. Идем все дальше и дальше, и навряд ли останусь живой. Прощай, дорогая супруга моя и детки мои. Иду я биться с смертельным врагом. Если же не вернусь обратно, так не забудьте же ласки мои. Переносил я тяжкие муки...»

Тут Степан то ли сам заговорил стихами, то ли взял их у товарища фронтового:

«Может я буду на вражеском поле
 Лежать умирая в крови
 А может я буду в неволе
 Пытать меня будут враги.
 А может вернусь я обратно
 Несчастный калека больной
 И может ты скажешь напрасно
 К тебе я вернулся такой.
 А если придется мне сгинуть
 То помяни за упокой.
 Я буду лежать на чужбине
 В братской могиле сырой.
 Тогда моим деткам скажи ты
 Где ихний любимый отец.
 За любовь своей родины милой
 Положил своей жизни ковец».

Еще не дочитав до конца, Ирина начинает плакать. Жаль-то как! И все про чужбину, про чужбину. Это уж они, наверно, по вражьей земле пошли. В то время Ирина думала: зачем же за границы-то они идут?! И так сколько крови пролито, сколько в живых не стало! Освободили Родину — поклон до земли и вечная память павшим! Так нет. Зачем-то еще идут и идут. Одну страну прошли, вторую, третью. Вон сколько стран прошли еще!.. И только гораздо позже, когда радоваться стала, что столько лет войны нет, поняла Ирина, зачем шли за границы и страны. Враги-то, ведь они как клопы. Не изведи до конца — опять накопятся и жалить будут. И если бы тогда не добились фашистов во всех щелях, может, уже не одна война была бы опять. Вот солдатики и шли тогда, чтоб раз и навсегда с войной покончить. Шли и умирали, чтоб никто никогда не умер больше в расцвете жизни на войне проклятой. Вот они какие, наши солдатики! Вот кто настоящие святые! Вот кого поминать надо во все века!

Уже на четвертый десяток пошло, как Ирина вдовой солдатской стала. И все поминает Степана и других, безымянных, но святых для нее солдат, погибших за Родину и за мир на земле. Особо поминает в родительский день. И всегда плачет над этим необычным письмом Степана. Раньше она никаких стихов от Степана не слышала. Песни — другое дело. Любил после медовушки, за компанию с мужиками, душу отвести. Распоеется, бывало, а бабка Федотиха сидит у себя на крылечке, слезами плачет и приговаривает: «Спой еще, миленький, спой, сыночек!..» Это потому, что Степан зря не вел, а если подаст голос, так от всей души. Потому и других за душу берет. И хорошо,

и печально делается. А Федотихе что-то свое вспоминается — глубокая старушка была... Но то песни. А тут стихи — на вот. Может, на душу что накатило, а может, выпил маленько. Не железный ведь, не каменный...

Поплачет Ирина, раздумается и опять поплачет. Сколько страданий перенесли за войну-то! Так мало еще. Муж на войне погиб, а потом и Миши не стало. За что? За какие грехи?

Ирина согласна была еще и еще раз пережить все заново, лишь бы Степан да Миха живыми остались. Ведь как жили в войну-то! Не приведи, господи! А выжили, выросли...

Когда Степан на войну уходил, Роман и Егор в пятый класс отправились. Погодки, одному тринадцатый шел, другому — двенадцатый. Вы, говорит, теперь мужики в доме. Так держите честь эту высоко. И держали ведь, держали ребятишки честь-то! Скоро Ирина убедилась, что кричать на них нельзя уж. Все понимают. И, бывало, так рассудят, так скажут иной раз — только язык прикусишь. От повелений да распоряжений Ирина к совету перешла. «Ну что делать будем, ребята?» И ребята думали, по-мужски лбы морщили, так и эдак прикидывали. Не без того, чтоб споров не было, но в работе да по школе всегда вместе, всегда дружно.

От отца никаких капиталов не осталось. Да никто их и не копил...

Зима все подбирает. Можно было съесть и семенную картошку, и корову продать. Но на семейном совете решали и картошку не трогать, и корову не продавать. Тогда еще неизвестно было, когда война кончится.

Едва снег сходил, на пашни снаряжались. Роман с Егором в школе, бывало, отпрашивались на копку огорода. Учились-то с понятием, так отпускали их, если горячая пора была. Ну лопатки изготовят, черешки поаккуратней сделают. Почти голодные копали, а вскапывали сколько! Это надо же! Сейчас, у кого десять соток огород, так большой считается, куда там!хлопот, мол, много. А она со своими ребятами под конец войны гектар накапывала пашни. Весь май копаешь да июня прихватишь. Иной раз так траву уже скашиваешь, чтоб копать не мешала. Поздновато, конечно, но все же выростала картошка. Оно, как потопаешь, так и полопаешь. И план себе такой поставишь, бывало, десять загонов пашни. А в загоне-то и есть десять соток. Накопаешь да саженью смеришь, чтоб знать, на что надежда.

Придешь на пашню, а в кармане — соль да луковица. Начнешь копать картофелище и обязательно сколько-то картошки добудешь. Оно, как бы чисто ни выбирал по осени, а в земле все равно что-то остается. Снег саженной толщины, земля под ним талая, и все, что в земле зимует, в целости. И картошка — тоже.

Весной зимовалой картошкой и питались. Верхушки срежешь — на семена, остальное — на еду. Костер тут же разведешь, печенок в золе напечешь. Ешь печенки-то и нахвалиться не можешь. Ребята скажут, бывало: «Если бы так кормиться, так и жить можно».

На картошке да на траве и проведешь весеннюю кампанию. Всякую траву ели: пиканы, черемшу-калбу, медунки, петушки, шкедры, морковные пучки, саранки-луковки, русьянки... Да мало ли травы съедобной! Только знать ее надо. А крапива, а лебеда, а шавель? Уж что-что, а трава в тех местах перла! Только трава — она и есть трава. Живот набьешь, а есть охота. Бывало, и лицом зеленые станут люди, с травы-то.

Как раздумаешься, почто не заболели, почто не умерли, так удивительно даже. Может, трава, она как лекарство была. Черемша, сказать, — как чеснок вроде. А вместо воды, бывало, березовый сок пили,

Да еще из соку-то квасу наделаешь. В драми его таскали. Березы кругом — высокие, толстенные.

Когда Егор с Романом в шестом да в седьмом классе учились, так все во вторую смену ходили. Весной хоть к экзаменам бы готовиться надо, а с утра обязательно на пашню бежали. А то один на работу бежит, другой за учебники сядет. Посидит малость, поймет что к чему и спешит брату помочь в работе и задачу обскажет, чтоб на уроке оба ответить могли. То ли уж поблажка им была, то ли и правда такие способные, как учителя говорили. Оба свидетельства хорошие получили. Ирина и не знала, когда они учились, успевали. Все на ходу вроде. Может, не война, так шибко бы далеко пошли.

Ох! Все — в работе, в работе... И Марусю-то она родила — едва с пашни прибежать успела. Картошку полола, как раз шестнадцатого мая. Ребятишкам наказала, чтоб работали дотемна, не спешили домой-то. С горы спускаться с полверсты было. Ноги стали подламываться. Как спустилась, сразу девочку соседскую за бабкой Светличихой турнула. Земля ей пухом, от всех болезней лечила. А бабка и сама на пашне была. Не сразу поспела. Но, слава богу, обошлось... Ребята с пашни вернулись в сумерках, в избе свеча горит, дитя плачет, и бабка богу молится, поклоны бьет за новорожденного. Марусей назвали.

Обыгалась потом, так Марусю с собой на пашню, на сенокос брала. Зыбочку на кусток повесишь, а то на березку гнутую, как на очепок. Положком прикроешь, укачаешь. Спит она на вольном воздухе, а ты свое дело делаешь. Закричит — прибежишь покормить ее, пеленки сменить да опять — за работу. Яслей-то, как теперь, и помину не было. А то Мишу оставляла водиться с Марусей. И водится он, и домовничает, а Ирина с Романом да Егором — на пашне или сенокосе.

И все с советом, с советом, бывало. Как, что, ребята? А ребята и сами понимать стали, для чего и весну, и лето, и осень роздыху не знаешь. Зима-то, она долгая, все подберет, подчистит. Нужны запасы да запасы. Бурундук, и тот все лето хлопочет.

Ребята меж пашней и сенокосом или попутно с тем и другим еще и охотничали. А то и золотишко мыли, как хороший дождь пройдет. Главное же — кулемок наставить: хлеба они не просят, только ходи проверь да исправность соблюдай. Пушнину и в войну хоть не сильно, а мукой отоваривали. Соль, спички, керосин, ситчик. Дробь, порох, капсуля тоже без пушнины, бывало, нигде не добудешь. Так-то вот и одолели войну. Взрослым, может, даже легче было. У ребят же — самый рост, а с питанием скудность и работа с утра и до ночи. И поиграть, сердечным, некогда...

Охо-хо-хо! Еще и еще согласилась бы Ирина вытерпеть все, лишь бы безвременно умершие живы были...

Похоронная от Степана пришла поздней осенью. Почтальонка несет известие и сама слезами обливается. Знакомая была. Ирина как подкошенная упала на пол, по избе каталась. Свет померк. Чуть заговариваться не стала. Вот тут и поблек Ирнин бог, поглупел и подурнел даже. Уж она ли не молила его спасти-сохранить раба божия Степана, который хоть и не верил в бога, а жил праведно и на войне воевал праведно — за землю свою, за Родину, за детей малых. Уж она ли не трудилась, как пчелка, с утра и до ночи, она ли не мучилась, не голодала?! Она ли не старалась угодить-потрафить людям, никому худа не делала? И четверо — на руках. Старшему — шестнадцать, младшенькой — два годика. Так за что же? Какой же это господь-бог, которому все равно, как люди живут-мучаются?! Правильно, наверно, Акулиха говорила: «Идол — ваш бог. Сами выдумали его, на-

малевали по церквам и лбы перед ним, как дурачье, расшибаете... Поди-тко защитит он вас, когда беда придет...»

Выдюжила. Опять выдюжила. Жить надо. Ребята еще не выросли, Маруся совсем маленькая была.

Роман в ту пору в городе учился. Егор в школе, в восьмом классе — за двадцать километров. А Ирина жила с Мишей да Марусей.

Зимой, после Нового года, Роман вернулся с учебы-то чуть живой. Отощал до того, что врачи запрещали учиться. Он думал, раз студентом стал, так на одной бодрости да на книжках прожить можно. Карточка, конечно, была. Да что карточка! Самый рост, а тут — карточка — пятьсот грамм. И в столовой карточка. А в общежитии холодище — топить нечем. В обуви и одежде спать приходилось. Сказывал: ждешь не дождешься, когда радио запикает. Это в шесть часов. А с этих пор как раз баня рабочая открывалась. Вот в баню-то и бегали по утрам отогреваться. Сядешь, говорит, где потеплее и спишь.

В город Роман уезжал с картовыми сухарями. Скоро управлялись с ними. А потом, сказывал, заберешь хлеб-то дней на десять вперед, разок наешься как следует и сидишь на гольной баланде, ходишь.

Вернулся Роман в самые морозы. В сапожках. Ноги и лицо обморожены. Как не окочурился? Увидела Ирина, что стало с Романом, слезами залилась. Стоит он рядом с Егором, старше на год, а смотрится как цыпленок общипанный — бледный да синий. Егор-то рядом с ним — как жеребец хороший.

Да ничего, картошки в ту зиму много было. Отъелся Роман, догнал Егора по справности, вроде лишку даже располнел. Это, говорят, бывает, если сильно отощаешь, а потом на картошке отъедаешься.

Прошла зима. Опять с огородами и пашнями управились. Роман с Егором теперь уж как мужики ворочали. Но самое главное — война закончилась.

Ох, закончилась!.. А на заимке все так же тихо было. Мужиков, которые живы остались, не отпускали еще домой-то. Только и было мужиков, которые по ранению вернулись. По пальцам перечесть. Потом братка Саня посулился. Недели через две, говорит, в Бийске буду. Жена его, сноха Иринкина, Авдотья, и сама в Бийск поспешила встречать мужа. Как на крыльях летела все двести с лишним километров. Где пешком, где на попутных машинах. Заранее прибыла в Бийск. И три дня поезд выходила встречать. И встретила, бедняжка, на носилках, неживого... Усы отрастил Саня, вся грудь в медалях. На родину вернулся, а дальше вроде как силы кончились. Ранений много было у него. В поезде прямо и умер, не доезжая до Бийска. То ли сердце не выдержало, то ли выпил лишнего чего, то ли раны докончили... Вот так и свиделась Авдотья с возлюбленным своим супругом, которого все четыре года ждала. Опять горя сколько было! У Авдотьи мужа не стало, у Ирины — брата кровного.

В лето Егора на военную подготовку забрали в лагеря, а Роман, поскольку на учебе числился, дома оставался. Сенокосничал, охотничал, золотарничал. А к осени, как с питанием лучше стало, взялись они с Ириной избу переставлять. До этого думали: Степан вернется, дядя Саня, братья Степановы... Собрались бы вместе, помочь устроили, как бывало. Да не дождалась никого. И Степан и три младших брата его полегли на войне. Яша, Петя, Сережа. Какие молодцы были!.. Бедная свекровка вроде как умом послабела после такого горя. Язык не совсем слушается и скажет иной раз невпопад вроде... И все плачет, плачет... Один у нее остался из сыновей-то, Проня — одногодок Роману. Так где же справедливость божья? Где?

Совсем подгнила изба. И ставил-то Степан вроде как временно. Потом, мол, другую срубим на каменном фундаменте. А эта стояла на столбиках, на чурках. И чурки подгнили, и все нижние венцы — тоже. Начальник прииска коня дал. Вывезли они лес на волокушах.

Ох, было делов с избой-то! Новую, наверно, легче было бы поставить. А тут сначала сломали избу, разобрали по бревнышку до самого оклада. Тес — в одну кучу, потолок — в другую. Целые бревна, с пометками, с каждой стороны — отдельно, и гнилые отдельно. На оклад самые могучие бревна положили — опять же на чураки. Дегтем обмазали, чтоб не гнили подольше. Сруб рубить начали.

Люди посмотрят, кто сруб ведет, так не верят вроде. Ирина наравне с Романом и углы рубила, и пазы выбирала. Привычка у нее была — зубы смыкать, как топором тукнет. Так от этого все скулы болели потом. А руки уж — само собой. И бревна они вдвоем закатывали по слежкам. Пока сруб невысокий — ничего. А как под крышу выводиться стал — тут шибко трудно и опасно было. Только и облегчения, что наверху старые, сухие бревна положили. Полегче они. И матица старая пошла — хорошо уцелела.

Худо ли, бедно ли — управились. Одна стена немного боком вышла, кривая. А так-то все хорошо уладили. Ночами Роман и руки не знал куда девать — болели. Утром встанет, а руки топора держать не желают, как деревянные. А понемногу, потихоньку, глядишь, разомнутся. Тук да тук до вечера. Спешил Роман к сентябрю управиться, потому что опять учиться надо было.

В сентябре Егор вернулся, а Роман в город уехал. Без него уж новую печь били да с огородиной управлялись.

После войны не сразу жизнь полегчала. Может, на третий год только. Егор после восьмого класса на прииске работал. Миша подрастал — помощником становился. Маруся в школу побежала. В срок восьмом Роман закончил учебу на агронома, и направили его аж на Дальний Восток. Деньгами помогать начал понемногу. Так до пятидесят второго продолжалось. И Егор учиться пошел в лесной техникум. Да со второго курса в армию ушел. А тут прииск закрывать стали, и кто куда поехал. И так глухомань была, теперь же и вовсе пусто да тихо сделалось. Ни школы, ни магазина, ни почты. Мише только шесть классов удалось закончить. Потом по договору золотарничал. Совершеннолетний стал, а поблизости никакой работы не было. Пошел Миша вслед за ребятами на другой прииск. Поработал там. Вернулся. Тяжело, говорит, и заработок плохой. Ребята на рудник собираются. Посоветовалась Ирина с Мишей, с народом, разузнала получше насчет рудника, и решено было всей семьей на рудник податься.

Сначала перебрался Миша. Устроился на руднике. Это уж в Горной Шории было. Если через тайгу, по прямой дороге, так на третий день дойти можно. Но Ирине хотелось и хозяйство перевезти. Мало ли что. На первый взгляд вроде и не было ничего из добра-то. А набралось грузу. Сундук с одежкой, ящик с посудой, кадушки, бадейки, мешки с картошкой, самовар, швейная машинка, потники, дерюжки, одеялки, семь подушек из пера и узелки всякие с семенами да травами.

С ближним колхозом договорилась. Отдала за перевозку всю остатную картошку, сено, три улья пчел, все пустые ульи, большой банный котел, весь плотницкий инструмент, маховую пилу, два ружья и припасы к ним. Эти ружья Роман с Егором без отца уж завели — за картошку купили. Белок ими добывали да рябчиков.

Колхоз не поскупился, дал Ирине целых три лошади с санями-розвальнями. По-хорошему-то, и на одной подводе все бы увезти можно, да лошаденки больно заморенные, себя едва несли, нога за ногу заплеталась. Хотела Ирина взять для хозяйства ящик-возовик с разной мелочью, так возчик колхозный наотрез отказал. Ни за что, мол, кони в гору с ящиком не подымутся. Пришлось и ящик отдать колхозу. А хороший ящик — с двумя скобами, кованый.

Снарядилась в дорогу Ирина. Середина зимы была. А колхоз все откладывает, откладывает отъезд. Дорога, мол, убродная, дальняя, а кони ослабли сильно. Тоскливо было доживать эти последние дни на прииске. Все уже разъехались, почитай. Выйдет Ирина на крыльцо, смотрит на округу, вроде как прощается. Березы знакомые, пихты, горы, лога. Перед войной тайга вроде отступать стала от прииска, а теперь опять заросло все. Пройдет несколько лет, думала Ирина, и все покроется травой да лесом. Две пихточки во дворе стояли. Когда избу рубили, так махонькие были. А теперь лесины вон какие! Избы не станет, бани, пригона, поскотины... А пихты стоять будут. Прямо как родные вроде. Жалко было оставлять их одних.

Редко в ту пору проезжал кто-нибудь по дороге мимо бывшего прииска. Не топтали дорогу-то. А тут, глядишь, опять буран подует.

Наконец пришли подводы. А к избе пробиться не могут. Метров триста от санной дороги до избы-то. Не ездили тут зимой, пешком только ходили по тропке. Застряли кони. Распрягать их пришлось да на дорогу выводить. От избы до подвод на руках и саночках возили поклажу. С утра до обеда снаряжались. Поехали. Прощай, федотовская заимка, прощайте, люди добрые, которые остались еще доживать тут последние дни. Откуда бы ни срывался, ни уезжал человек, все кажется, осталось тут что-то живое, вроде твое, кровное. Вот так-то поди и домового придумали.

Дорога желобом по тайге, в снегах глубоких. Два перевала одолеть надо. Марусю подушками обложила, в тулуп завернула, на задние сани усадила, сама следом пошла. Мороз трещит. Как где раскатятся сани, так Маруся — кувырк и выпадет из саней-то. Хорошо, что кони черепахами ползли, не убегали.

Ох, где та дороженька зимняя? Ездят ли сейчас по ней? То пологу тянется, то гривой идет. И все лес, лес нерубленный. Совсем глухая сторона, от деревни до деревни — день ехать. Задуй буран, так в тайге под снегом и останешься. Кричи не кричи — никто не услышит. Быстрее бы ехать по таким местам, а кони плетутся. Возчик злится, беспокоится: пропадем, мол. У второго перевала, в кержацкой деревушке, совсем уж собрался сгрузить Ирину. Обрато, мол, кони не дойдут, не дотянут. Что мне, в тюрьму теперь садиться?! Наплакалась Ирина, пока упросила дальше ехать. Посулила ему тулуп, в который Маруся была завернута. Как приедем, мол, на место — отдам. А кое-что и отгрузить пришлось, бросить для облегчения.

Рудник в горах стоял. Крутые горы. В логах да по северным склонам лес — пихтач да кедровник, а южные крутяки все голые, каменные. А по горам, через лога глубокие, подвесная дорога идет, на высоченных железных столбах. Вагонетки по ней бегают.

Мише в бараке на веселом месте квартиру дали с паровым отоплением. Хорошая комната, светлая и теплая. И кухня, хоть общая, а большая, просторная. Все приглянулось Ирине. Магазины, школа, клуб большой. И людей знакомых много тут оказалось. И Миша справно смотрелся. В вечернюю школу ходить собирался по осени. Гармошку завел хорошую, играл песни всякие. После-то оказалось, что и стишки писал. Тетрадка осталась такая. Он больше всех на Сте-

пана похож был. Глаза такие же серые, ясные, прямо в душу глядят. Только чуть посветлей да побольше. А все равно как у отца — с прищуром. И все вроде улыбается и стесняется чуток. И Мише пора уж в армию приспела, а на руднике бронь была на рабочих-то.

Оставила Ирина Марусю с Мишей да с соседями, а сама за коровой в колхоз побежала. Корову сразу нельзя было вести — телиться собралась. Запасла ей Ирина сена получше да соседа попросила присмотреть за ней.

За два дня добежала. Корова отелилась. А сена уж нет. Копны две сена было, на санках Ирина возила — вон откуда! Сосед своей корове скормил. Худым человеком оказался. Не местный был — пришлый. После войны взялся откуда-то, женился на вдовой солдатке. Тайно жил, непонятно как-то, а тут стал весь наружу показываться. Народ разъезжается, а он по дешевке скупает все да к дому своему тащит. Многое просто задарма досталось ему. Устроился заготовителем «Сибпушнины». Да бог с ним. С другой стороны подумать: все равно бросили заимку-то. Ему же и избу продала Ирина за сто рублей и телочку новорожденную тоже за сотню.

Собралась обратно идти с коровой, а тут буран загулял. Снегу в пояс навалило, дороги нет никуда. Пришлось на кержацкой заимке покупать сено, таскать на себе да корову кормить, пока дорога не наладилась.

Когда пробили дорогу, Ирина повела корову. А от двора — тропка узкая, глубоко в снегу протоптанная. Корова как ухнет — одни рога торчат. Снежище такой! Пришлось собирать народишко, какой поблизости был, да за Христа ради просить о помощи. Сани притащили, корову, как человека вроде, на сани посадили — завалили и вывезли на дорогу.

Повела корову. На спину седелку приладила, а по бокам по охапке сена привесила. Остановится, бывало, покормит корову, костерок разведет, да тут же и подоит Красульку, и молока парного напьется. А остатнее молоко — сразу и застынет, глядишь, в ведерке. Ну — в торбочку его, на горб и пошел дальше. Привела корову на рудник да еще молока наморозила.

...Как и всегда, в родительский день, под конец и дольше всего смотрела Ирина на фотографию Миши. На эту фотографию слез ее больше упало.

Пришел Роман. Пошумел чего-то у себя в комнате и затих. Все пишет чего-то. Брошюрки есть у него, и статьи в газетах печатаются. Бориска скажет, бывало: «Опять отец разразился». Потом и Бориска пришел, с ребятами ввалился. Про футбол загалдели. Сезон открылся. Игра на стадионе. Ирина хотела выйти на кухню, где Бориска друзей угощал, и сказать, чтоб и они съели хоть по яичку и вроде как тоже помянули родителей, но постеснялась незнакомых ребят. А Бориска — сам догадался. С кухни слышалось: сегодня, мол, бабки и дедки крашенные яйца едят на кладбищах, водку пьют и поминают родителей, давайте мы винца потянем да родителей помянем. И засмеялись. Что взять с них — молодые, всем обеспеченные.

Это верно, что поминают. В последние годы даже молодые городские жители вместе со стариками веснами на кладбище ходят. Старые поминают по-своему, по-старому. Молодые — тоже по-своему. Не говорят: «родительский день», а — «день поминовения». Также хорошо. Поминают и воинов, на войне и за революцию погибших, и просто родителей.

Ирина на городское кладбище не ходила. Там никто из близких ей не был похоронен. Да и питье водки на кладбище казалось ей делом несуразным.

Когда Бориска и друзья его покинули кухню, на улицу вышли, в комнату к Ирине заглянул Роман. Ирина тихо сидела за столиком и беззвучно плакала над фотокарточками. Роман не удивился — знал, что сегодня родительский день.

Ирина молча, мельком взглянула на Романа, и он тоже молча глянул в ее заплаканные глаза. Она опять склонилась к столу и, вздрагивая, поднесла платочек к щекам. Роман вздохнул, постоял чуток, тихо кашлянул и пошел на кухню. Тут он увидел на столе полуприкрытое полотенцем ситечко, приподнял полотенце и взял оранжевое, крашенное отваром луковой шелухи яичко.

А Ирина продолжала поминать и вспоминать. Покойный Степан говорил, бывало: «Вырастим сынов, выучим, а годы у нас с тобой, матка, еще не старые. Будем жить-поживать, медовушку попивать да песни попевать...» Так оно, возможно, и было бы, если бы не война.

Миша при отце последним был. Потому он баловал еще больше, чем Романа или Егора. Бывало, играючи, нащекочет, наколет его бородой, а Миша обидится и скажет: «Ох, уж и будет этому отцу, когда старый станет!..» Ребячьим своим умом обиженный Миша полагал, что когда отец состарится и станет таким же слабым, как он, а сам Миша вырастет и окрепнет, то сможет припомнить отцу теперешние неприятности. Отец смеялся, подползал к Мише на четвереньках, подставлял загривок и просил поколотить уже сейчас, чего ждать-то? Миша начинал было колотить, но, услышав, как отец всхлипывает, тут же прекращал наказание, растерянно и жалостливо оглядывался, виновато моргал и ударялся в слезы — теперь уже от жалости к отцу. Может, так и не следовало бы играть, но так было, так и запомнилось.

Однажды, в голодное время, она уговорила пятилетнего Мишу пойти к соседке, которая жила с мужем, не имея детей и родственников, и, может, потому горячо любила чужих детей. То и дело отирались у нее девчонки Ложковы. Этакие матрешки. А тут еще Миша пришел и, святая душа, сразу за стол полез, потому что соседка обязательно должна была накормить. А старшая из Ложковых до того уж освоилась в чужом доме, что хозяйкой себя чувствовала. Строго так спросила: «Ты куда?»

Бедный Миша молча вылез, молча оделся и молча вышел на улицу, прошел половину пути к дому и только тут дал волю горьким слезам. Когда Ирина вышла встречать его, Миша, глотая слезы, жаловался: «Вот это дак накорми-или!.. Вот это дак накорми-или!..» С тех пор никогда он не был в доме соседки, никто не мог его уговорить пойти туда. Даже голод.

В один из летних дней вся семья была чем-нибудь занята во дворе. Они со Степаном всегда находили работу Роману с Егором даже в воскресные дни. Как себе, так и им. А Миша по малолетству сидел на крыльце и наблюдал. Потом ушел в избу и довольно долго не показывался. Думали, сморился, спать захотел и теперь прикорнул где-нибудь. Но вдруг с крыльца раздался громкий покаянный плач, и все увидели Мишу. Стоял он на крыльце — руки по швам и с ног до головы обляпан сметаной так, что и глаз не видно. Вот, мол, что хотите, то и делайте, беда случилась. Виноват, готов к расплате. А по щекам текут слезы и сметана.

Там, в избе, Миша хотел полакомиться сметаной. Тяжелый глиняный горшок он решил перенести из-под лавки в кути на стол, а тот

вырвался из рук, ударился дном об пол, сметана хлестанула вверх и облила Мишу! И выбежал он на крыльцо, чтобы всем своим видом заявить о несчастье и провинности.

Да мало ли смешного было у детей-то! Ничье детство не обошлось без потешных приключений... Вырос Миша. И нет Миши.

На руднике он откатчиком работал. Работа тяжелая была, но и платили хорошо. Она писала Роману и Егору, что жить теперь можно. Правда, весной сильно потратились, чтобы корову докормить. Ну а теперь уж лето. Молока хватает, даже соседям остается. Хоть ей, матери, и не очень здоровится, но по дому управляется.

Роман с Егором отвечали, подбадривали. Ничего, мол, потерпите еще немного. Егору оставалось в армии дослужить — в танкистах он служил, а Роман на Амуре в институт поступил, на второй курс перешел. И план такой был: закончит Роман институт, получит работу и перевезет к себе ее с Марусей. А Егор с Мишей доучиваться станут.

Ох, терпела бы Ирина самые страшные муки до конца жизни, всю кровь бы отдала по капельке, лишь бы не было потом того, что случилось... Все, казалось, пережили. Войну, похоронку, болезни, трудности, голод. Вроде все уж позади было. Три сына выросли, а самой только сорок шесть лет. А Маруся вроде как для забавы уж была. В третий класс перешла. Только бы жить да радоваться. И вот — на тебе! Да сколько же можно?! За что? Несправедливо это. Пусть судьба, пусть случайность, или недосмотрела, не поияла чего-то, а все равно несправедливо... И винить вроде некого.

Дни тогда стояли июньские, жаркие. Вечером Миша пришел с работы чем-то расстроенный и разморенный. Спросила: не случилось ли чего? Нет, говорит, мама, просто работы много было. Товарищ покалечился, так за него пришлось норму давать. Переоделся, побрился — борода уже росла, светлая такая, — сказал: пойду на речку, искупаюсь. А вечер был душный. В горах, в логах глубоких часто бывают такие вечера в летние дни. Ушел Миша. Ни вечером, ни утром, когда на работу идти, не дождалась его. Все передумала. Такого еще не бывало, чтоб Миша дома не ночевал. Да, видно, пора пришла — парень уже. Взрослый. Загулял, может, у товарищей. И так, и этак передумала. А сердце-то не на месте. Чуть рассвело, побежала на речку, под гору. На речке галька от росы блестела, туман курился. И увидела она на камне одежду Мишину. Всю так и обварило с головы до ног! Рванулась к воде и в десяти шагах, на неглубоком месте увидела — белеется. Как была в одежке, так и в воду бросилась. Лежит Миша на дне галечном. Не приведи господи, ни одной матери увидеть такое!

Вынесла Ирина сына своего на берег, от воды подальше — и как сил хватило?! Упала на него, холодного, и заголосила по заре утренней. Наверно, во всех логах слышно было. Сама же она и одела сына, а как стеклись люди и понесли Мишу, она идти уж не могла, под руки вели.

Потом ходила как полоумная. Спасибо, добрые люди... Дали телеграмму Роману и Егору. Из армии Егора отпустили, да ехать-то ему далеко больно было. В Приморье служил. Неделя прошла, пока доехал до рудника. Мишу похоронить успели, ждать не стали. Лето. Жара... Ну а Роману-то, студенту, и выехать оказалось не на что. Стал хлопотать стипендию — чтоб вперед выдали. Да профсоюз выделил подспорье. Два дня на это ушло. А еще и ехать предстояло с неделю, тогда самолеты-то не летали, как теперь. И выходило, что никак не успеет Роман к похоронам. Выслал он все эти деньги Ирине и телеграмму дал: не успеваю, мол, приехать-то. Ждите письма от меня, а сам не успею сейчас, приеду через два месяца. Буду зараба-

тывать деньги. Так без братьев и отправился Миша в последний путь.

Когда Егор приехал, мать лежала при смерти. Пришел он справный. В погонах сержанта. В другое бы время — радоваться, а у Ирины одни слезы и горе неизбывное. Да она и слезы уж выплакала — глаза сухие, огнем горят.

С неделю просидел Егор подле Ириной постели, разговорами отвлекал, пить да есть заставлял. Даже насильно заставлял. А Ирине ничего не хотелось, все спеклось внутри.

— Хочешь не хочешь, мама, а выпей вот вина, — велел Егор.

Тоскливо ему было. Чужая местность, чужие люди. Брата не застал, мать при смерти... Выпила Ирина стакан вина и никакого хмелю не почувствовала. Лежит, все такая же — ни живая, ни мертвая. А Егор еще велел выпить. Выпила. Ей уж все равно было. И вот с этого-то вина и уснула Ирина. А как поспала — легче стало, опять вроде жить захотелось. Вот они — дети, как же они без нее останутся? Еще трое. Жить надо, выкарабкиваться.

Заказное письмо от Романа пришло. Писал, что работает в экспедиции. Потом, как заработает деньги, будет искать квартиру в городе. Как выйдет, так приедет и заберет мать с Марусей к себе. Все вместе жить будут. Маруся будет учиться в школе, а Роман и учиться, и работать. На здоровье, мол, не жалуюсь.

Так оно и вышло потом. С тысяча девятьсот пятьдесят второго года и живет в этом городе на Амуре Ирина. Роман, когда выучился на агронома, работал и в МТС, и в районе. Потом в город перевели его — в областное управление. А Ирина так и жила с Марусей в городе. А как Роман вернулся — к себе их забрал, квартира-то в четыре комнаты.

Еще Роман писал тогда в своем письме, чтоб они с Марусей пока родных проведали. Пусть все распродадут и отправляются в степь да на Стародубку. Месяца два могут погостить, а там и он приедет.

Распродала Ирина, что было, как сын советовал, проводила Егора в армию и вдвоем с Марусей в степь отправилась. Пешочком. Марусе-то уж десятый годок шел. Опять пошли они через тайгу, через прииск заброшенный, где раньше жили, дошли до Бии, переправились на пароме. Потом еще целый день горами да лесом шли.

Побывала Ирина в ту пору и у свекрови (свекор-то умер уж), и у деверя младшего самого, и у золовок, и у снохи, и у сестер, и у племянниц. Там дня два-три поживут с Марусей да в другом месте, вот и идет время-то. И проходили так даже немного больше двух месяцев.

На рудник возвращались — торопились. Знали, что Роман приехать должен. Отошла Ирина в гостях, обогрелась, опять вроде крепость вернулась. В последний день много прошли. Ночевать можно было не доходя, так торопились, не терпелось. Ночи прихватили.

А Роман-то уж четвертый день ждал. Ну, встретились. Слезы да расспросы, старые и новые новости... Сели ужинать. Ирина — в слезы опять. Вот, мол, собрались мы, а Мишеньки нет с нами... Сидел бы сейчас и он тут — дитенок мой...

Поплачет Ирина и опять посветлеет. Поплачет и посветлеет. Сын приехал. Жив-здоров.

Рассказала Ирина, как родные живут, и Романа расспросила, как он жил в это время, как там дела у него. Был ли, как приехал, на Мишиной могилке. Сын сказал, что был, проведаль брата, вот Ася рассказала, как найти могилку.

Ася — теперешняя невестка Ирины — Ксения. После того как Ирина распродалась и уезжать надо было, Ася с матерью заняли Мишину квартиру, еще до того, как уедут Ирина с Марусей. А Роман, пока

ждал Ирину, познакомился с Асей. Потом переписываться стали. А там Ася приехала на Амур. Поженились. Так-то ее зовут Асей, а по паспорту Ксения. И в семье также: то Ася, то Ксения.

Сколько раз в тот вечер собиралась рассказать Ирина, как утонул Миша, как нашла она утром его сама, как подкосились у нее ноги и ничего она уже не видела и жить не хотела. Роман и Ася мать успокаивали: мол, не надо лишний раз бередить сердце, хватит уж, теперь о другом думать надо. Ох, легко советовать, легко говорить... Однако Ирина послушно вытирала слезы и на какое-то время вроде успокаивалась.

Конечно, тогда хотелось Ирине в подробностях знать и про то, как сыновья ее чувствовали себя да почитали брата Мишу. Но они не то, чтобы отмалчивались, а вроде избегали говорить об этом. Только уж потом, много позже, узнала она о том, что у сыновей было на душе тогда. Однажды Егор в гостях был. Засиделись после ужина и все детство вспоминали да молодость зеленую. Удивлялись, как терпели, как работали, как не теряли голову в тяжелые дни тогдашние. Одно удивительно теперь, другое смешно, а третье грустно и печально.

Роман вспомнит, Егор дополнит. Егор вспомнит, Роман дополнит. Оно, хоть и братья родные, а немножко по-разному на одно и то же откликалась душа-то. Ирина тоже засиделась тогда с ними. Полрюмочки пригубила коньяку. Наслушалась, наговорила она в тот вечер. Оказалось, что очень многих подробностей из жизни сыновей своих вовсе и не знала. Своя у них жизнь, давно уж своя. А ведь она все думала о них, как прежде почти, и, казалось, понимала все, что делали. Говорили тогда и насчет Миши. Роман всплакнул, как вспомнил бедность тогдашнюю, из-за которой приехать не смог.

Не спеша вспоминали, говорили братья. В голосе грусть, тепло и любовь обоюдная. И приятно это было Ирине. Вместе росли, вместе учились, охотничали, работали по хозяйству. Даже друг на дружку долгое время так похожи были, что соседи путали. И сложись поудачней жизнь, может, и дальше вместе бы учились и жили бы где-нибудь в одном большом доме. Но жизнь — есть жизнь. Совсем было разбросала она их в разные стороны. Слава богу, хоть теперь в одной области живут, видятся часто. И для Ирины есть возможность в гости съездить.

Егор в армии танкистом был и после пошел по машинам учиться. Техникум закончил да еще курсы всякие. Со временем вроде бы отдалился от Романа. Все — сам по себе. Да что ж. Даже родные братья не могут быть одинаковыми.

Егор деньги хорошие зарабатывает, а душа — нараспашку. Бывает Ирина у него, так редкий день без гостей обходится. «Егор Степаныч... Егор Степаныч...» Кто с бутылкой, а кто и так. Вон друзья у него, все хорошие. Ну, право, как свекор-покойничек. У того тоже вся волость в друзьях была. И жена Егору такая попалась, Тамара. За деньги не стоит. Нынче, мол, не те времена, мама. Ну и ладно, лишь бы им хорошо жилось да внучке Аленке. Ой шуфра! (Тамара тоже одного выродила и не хочет рожать больше.)

А Роман, старший-то, все ездит, все ездит. Работа такая.

Когда Роман с Егором встречи празднуют, Ирина и узнает кое-какие подробности из прошлой и теперешней их жизни. Так-то вот более подробно узнала она, как Роман тогда, по случаю кончины Миши, на рудник добрался. Восемь дней в дороге провел. Очереди, пересадки. Приехал, у первых встречных стал спрашивать, где живет Ирина Мерзликина. И никто не мог указать, пока он не напомнил, что сын у нее утонул, два месяца назад. Тут, конечно, припомнили слу-

чай. Мол, дома ее сейчас нет, в степь ушла с родными повидаться-попрощаться, потому что скоро старший сын приедет за ней и увезет аж на Дальний Восток. Ну, Роман и признался, что он и есть сын ее. Тогда уж ему подробности стали рассказывать. Жили, мол, Мерзликины, вон там в бараке, в самом центре поселка, на горе, как раз возле магазина. Хорошее место. И Миша хорошо зарабатывал, и рабочим хорошим считался. Корова, мол, у них отелилась к траве как раз. Молока много было. Миша справный был, мужчиной гляделся. Такой парень и — на вот! Что случилось, что случилось! И глубины-то по пояс было.

Мишу вскрывали и ничего не нашли — ни синяков, ни ссадин, ни ушибов. И сердце вроде в порядке было. То ли перегрелся — и удар случился, то ли шок от холодной воды. Речка горная, вода студеная.

Опять у Ирины из глаз катятся слезы, и она не утирает их. Миша, Миша... дитенок... Да как же я не доглядела тебя? Как случиться могло?..

На последней фотокарточке Миша был снят на крылечке своей избы, еще на приiske. Фотографировал его дружок по школе. На коленях у Миши лежит Жучка — последняя собачка Мерзликиных. Матерчатая кепочка, сшитая самой Ириной. Такая же рубаха-толстовка. Штаны с заплатами. Как был по-рабочему одет, так и сфотографировался. А Жучка, видно, сердилась на фотографа или была недовольна тем, что ее животом поперек колен положили. Она, кажется, хотела вырваться, но Миша удерживал ее, и мордочка у Жучки была настроженная и глядела прямо в глаза. Жучка — молодая, гладкая, черная с белым. И вся фотокарточка получилась молодая и нарядная, хоть Миша и одет был куда как просто. И лицо у Миши умное, с доброй смешинкой в глазах ясных...

У Ирины в ту пору все было собрано для отъезда. На второй день, после того как вернулись они с Марусей от родных, Роман нашел машину, и стали укладываться. Пришла пора и это место покидать.

Уложились, попрощались с Асей, с ее матерью, с соседями и знакомыми. Поехали. Роман — в кузове, а они с Марусей — в кабине с шофером. За поселком Ирина остановила машину, вышла из кабины, обессиленно опустилась на валун и безутешно заплакала: «Мишенька... Мишенька... Мишенька, дитенок мой! Не могу я от тебя уехать... Один, совсем один ты остаешься... Сыночек ты мой родимый...»

И у Романа спазмы давили горло. И когда Ирина сказала, что надо заехать на кладбище и еще раз всем попрощаться, он не стал возражать.

На кладбище Ирина упала на могильный холмик, забилась, зарыдала, не поднимая глаз. Шофер их не торопил, долго ждал. А потом вдруг засигналил. Ирина едва оторвалась от бугорка и, придерживаемая сыном, медленно пошла к машине. Шофер, сняв головной убор, стоял у дверцы и все не отпускал сигнала. Только теперь Ирина поняла, что и он, от имени живущих, говорил «прощай» своим, шоферским способом.

Когда все уселись, шофер еще дал длинный гудок, и машина тронулась. А где-то вдалеке, в жидком молодом осиннике, долго плутало эхо, как бы ища того, кому предназначалось это прощание. Шофер-то был другом Мише.

В жизни не раз приходилось Ирине переезжать с места на место. Но никогда не было так мучительно тяжело оставлять вчерашнее пристанище, как в этот раз.

Станция от рудника стояла к югу, за горами, а на машинах ездили в объезд гор, по логу, вдоль по речке. Шла машина, а Ирина то пла-

кала, то замолкала, и думала, думала. Подумала она и о речке. Хотелось ей как бы разгадать тайну этой речки. Нигде не было глубоких омутов. Вся она в небольших плесиках и перекатах, светлая, каменистая, говорливая, веселая, беззаботная... А Мишу утопила. Почему она это сделала? Почему именно эта речка смыла последнее дыхание сына? Почему приняла такую жертву?

На станции Роман с шофером сдали в багаж всю лишнюю кладь, а то, что на дорогу требовалось, распределилось по рукам.

Ехали долго. Поезда были забиты. Много было командированных, отпускников, студентов. Почти всю дорогу она сидела на чемодане и спала сидя, а Маруся — у нее на коленях. Роману больше пришлось стоять. За дорогу он сильно похудел, зарос, на конечной станции его было приняли за бродягу — долго и придирчиво проверяли документы. Тут только и удалось побриться Роману, в привокзальной парикмахерской. Побрился. Ирина глядит: мальчишка еще. Двадцать с небольшим.

С дороги Роман давал телеграмму другу, чтобы он встретил на вокзале. Тот и правда встретил. Как только поезд подошел, он уж тут был. Леша Арсеенко — тоже с Алтая парень. Славный. Все помогал потом.

Автобусы тогда не ходили. Роман с Лешей узлы да чемоданы взяли, а Ирина с Марусей так пошли, прямо на квартиру, которую Роман нашел. Поселились они в частном доме. Хозяин работал на судовой верфи, а трое ребят без матери были. Нужна была хозяйка дома. Вот на этих условиях — мыть, стирать, кухню вести и домовничать — и договорился Роман.

...К Новому году приехала Ксения. Сразу на работу устроилась нянечкой в детсад. Теперь-то она — заведующая.

Еще три года тянулась у Романа студенческая ляжка. Ирина на Марусю получала пособие и прирабатывала шитьем на машинке. А Роман, как чуть свободное время, так — на заработки. То уголь, то лес, то муку, то бочки всякие грузил да разгружал. Да еще каждый год огород сажали.

Егор отслужил, вернулся и тоже в этом городе жить стал. На разных работах был, квартиру дали. Вот в эту квартиру потом и переехали все. Махонькая, а все угол свой. А потом-то уж все со старшим жила.

Жила да жила Ирина в городе на Амуре, а жизнь год от года лучше становилась. Попервости, как приехала, почти весь город был деревянный. Только одна мостовая шла от вокзала. Все другие улицы были такими, как шоссе или полевая дорога. Дальше от центра были и вовсе глухие места да улочки — с травой, с кустарником, с грязными канавами, с болотцами и озерушками. Гуси, утки, свиньёшки плескались и лягушки по весне квакали. Даже дикие утки садились где-нибудь, если тихо было. И чуть не у всякого жителя — заборы, ворота, амбарушки, сараи, хлевушки, погреба, загородки. Та же деревня, почитай.

В летнюю пору, по утрам хозяйки коров да коз в стадо сгоняли. Бывало, по всему городу пройдет одно стадо, да второе, да третье. Напылят, наляпают, накопытят, как в поскотине.

Или трубы взять. Сколько труб, больших и маленьких, дымило! И почти все гудели. Утром, как подниматься, — гудят. Как на работу — гудят. Как работу кончать — гудят. Такой рев поднимут! Надо сказать, Ирине глянулось, как гудки гудели. Ну а ездить тогда никто почти не ездил — автобусов не хватало. Так пешком, пешком народ-то бегал. И на работу, и с работы, и в школу, и со школы, и так куда.

Три наводнения пережила Ирина. С первым совсем не могли справиться, низкие места затопило, дома по окошки в воде стояли, по иным улицам на лодках плавали. Много беды вода наделала. Второй такой воде уж не дали гулять. Был ущерб, но меньше. А третью воду и вовсе не пустили в город. Машин как мурашей высыпало! Дамбы и насыпи в низких местах подняли. А тут, выше по Зее, плотину строить начали. Водой-то управлять теперь, как ручной, станут.

Многое переменялось на глазах у Ирины. Те же улицы, да не те теперь. Ровно стало, гладко, асфальт кругом, от машин проходу нет. Поломали деревяшки да зачатки всякие и высоченных домов наворочали. Все кирпич да бетон. Те дома, которые раньше главными были, теперь сиротами смотрятся. Стоят, как недоростки, меж великанов. И почто-то жалко их. И, когда ломали иные старые дома, тоже жалко было. Больно уж изукрашены по-всякому. Карнизы да наличники в кружевах ровно.

Не узнать города, совсем не узнать.

С одежкой тоже вон как изменилось! Уже и не поймешь, кто рабочий, кто служащий, кто студент, кто колхозник. Ни хлеб, ни одежда теперь — не задача.

Радуетя Ирина и завидует, глядя на теперешних школьников. Это что же деется такое?! Малек ведь, совсем малек какой-нибудь, а задачки такие трудные решает. Радио мастерят, самолетики делают, как настоящие — по воздуху сами летают. Или в телевизор посмотришь. Что ребятишки-то вытворяют! И поют, и пляшут, и танцуют, как артисты, и на всякой музыке играют. Вот бы когда Ирине родиться-то! Большое любопытство было. Уж так хотелось учиться!

Или спутники эти... Сколько уж их перевидала Ирина! Выйдешь вечером, сидишь у тополей на скамеечке, беседуешь с товарками, глянешь в небо, а он и летит, светится. Да если бы в старое время такое увиделось?! Сказали бы: светопреставление. Никто и ни за что не поверил бы, что это человек сотворил. Бог — сказали бы, молиться бы ударились: «Спаси и помилуй, господи!..»

Да что спутники. Однава Ирина была на огороде, а реактивный самолет пролетел низко, так и то страху натерпелась. Гром такой, что к земле давит. Это уж теперь по привычке.

Встали бы старые люди да посмотрели бы, какие города стоят, какие заводы, какие поезда и машины бегают, какие самолеты летают, так за чудо, наверно, посчитали бы. А может, и нет. Может, порадовались бы. Вот, мол, наши дети, внуки да правнуки какие дела натворили! Молодцы! Не зря мы страдали за них, за жизнь ихнюю. Вот и теперь добрые люди радеют для тех, кто потом жить будет.

И что будет потом, что будет?! Ох, пожить бы подольше да посмотреть бы...

По соседству с Ириной, в коммунальном доме, на одной площадке сразу три старушки живут: Лизавета Ивановна, Нина Яковлевна да Елена Авксентьевна. Повезло Ирине с соседями — хорошие люди. Каждый вечер кто-нибудь у кого-нибудь в гостях бывает. Разговоры всякие. Есть что вспомнить старым. Елена Авксентьевна помоложе, пограмотней — бухгалтером работала, а теперь на пенсии. Она, как Бориска говорит, и в «политике волокет». И правда, все объяснить может. Вот, говорит, заграничные злые пыхатели все ругают наших: безбожники, коммунисты да все такое. А посмотрите, кто добро, а кто зло творит. Наши за мир борются, чтоб кровь нигде не лилась, чтоб все люди братья были и равные во всем. А они? Чужие земли бомбят, детей и стариков не щадят, негров стреляют, своих президентов стреляют и друг дружку за копеечку почем зря потрошат. Уж чья бы ко-

рова мычала, а ихняя бы молчала. Если бы и правда бог был, так не за них, а за нас стоял бы.

Ирина согласна: раз сами грешно живут, то нечего на других пальцем показывать. Божественные — куда там! Атомную бомбу не кто-нибудь, а они сбросили на людей. Ирине и в жизни замечать приходилось: если кто грешно да пакостно живет, то и в других старается что-нибудь такое же выискивать. А себя за святых выдают. А нечего найти, так выдумывают чего-нибудь, слушок пустят.

Из всех разговоров про политику Ирине больше всего нравятся выступления Юрия Жукова. Как увидит его в телевизоре, так всякую работу бросает и слушает. Соседки — тоже. Умеет человек объяснить-показать. И ей тоже хочется, чтоб все по добру да по уму шло. Обидно, когда люди ссорятся и свою корысть ищут. Чего делить-то?! Ведь как подумаешь — все есть на земле, чтоб жить хорошо.

Кто ранешние времена помнит, так тому шибко и не надо доказывать, как было и как теперь есть. Это можно даже понять по одному виду людей.

Ох, жить бы да жить без горя, без печали. Дети выучились. Вот и Марусю взять хотя бы. Живет в Красноярске, на заводе работает, квартиру имеет. К себе зовет: приезжай да приезжай, поживи у меня... Оно, конечно, и не мешало бы съездить, посмотреть, а все невмочь — не осилить Ирине теперь такую поездку, не то здоровье... Здесь уж, видно, и доживет до своего предела, поминая по родительским дням тех, кого поминать положено. Помянет по обычаю, поплачет. А потом... потом и ее в последний путь проводят. Поминать будут.

Последнее время Ирина вязаньем увлеклась. Свитера да перчатки, носки да береты всем навязала. Пусть носят и — на память. Бориска попервости свой свитер забраковал вроде, а потом он как раз по моде оказался. Сейчас ведь опять кое-что по-старинному шьют да вяжут.

Еще хочется Ирине «дорожки» понарядней выткать. Тоже — на память сыновьям, внучатам да невесткам. Завтра как раз этим она и займется. А сегодня — родительский день, и никакого такого дела нельзя делать. Сегодня поминать полагается.

В соседнем квартале товарка живет — тоже сибирячка в прошлом. Вот с ней-то они и договорились «дорожками» заняться. Ирина еще зимой упросила Романа хоть простенькие кросна сделать. Он сделал, кое-что по своей памяти, кое-что она подсказала. Станок-то готов уж. А берда, ниченки, подножки и ценки у землячки имеются — хранились на всякий случай. На основу закупят ниток покрепче, а на уток шерсти да ваты нарядут.

Еще на завтра они с землячкой договорились платья примерить. Ирина еще до пасхи сшила два платья — себе и землячке. Эти платья наденут на них потом — для вечной жизни.

Вот и прошел еще один родительский день. Помянула Ирина родных, близких, знакомых — помянула и вспомнила поименно и у кого какая жизнь была.

Помянула... Вспомнила... И свою жизнь еще раз на весы положила и, как судья, со стороны посмотрела. Вот она, жизнь ее человеческая.

Не счесть людей на земле. Есть судьбы и жизни схожие, есть разные и очень разные. А Ирине вот такая выпала...